
К истории Дарвиновского Музея

От 80-х годов XIX столетия до Великой Октябрьской Социалистической Революции

Александр Федорович Котс

Детские и юношеские прелюдии. 1887 — 1896

Москва последней четверти минувшего столетия.

Москва купцов, чиновников, чиновников-ученых, обывателей, провинциальная и захолустная Москва, когда то окружавшая раннее детство автора последующих строк.

В этой давно забытой обывательской Москве, в одном из небольших дворов кирпичный двухэтажный дом со сводчатыми окнами. У одного из них предельно высунутая из окна фигура семилетнего вихрастого мальчика, опирающегося широко расставленными руками в подоконник. Затаив дыхание, он смотрит на семейку черных, белохохлых кур, следя за каждым их движением с тайною надеждою подобрать после ухода их — одно другое оброненное перо их белого султана.

Перед нами — «первая любовь» и первые «музейные шаги» будущего энтузиаста-музеолога. Эту врожденную любовь к животным и к «музейному» их собиранию он унесет с собою во всю последующую жизнь и в свое призвание.

По прошествии немногих месяцев все перья, оброненные куриным населением двора были подобраны мальчиком и лучшие из них старательно наклеены им в особо заведенных для того тетрадах.

Но настала осень и начавшиеся холода заставили перенести его «экскурсии» под крышу дома.

Вечер. В доме гости. Выждав время, когда все уселись за вечерний чай, наш молодой, зоолог, робко озираясь, с замиранием сердца пробирается в прихожую и к вешалкам. Здесь, в раздевальне, среди шуб и меховых пальто гостей открылся неожиданный источник для «естественно-научных сборов» — собрания образчиков волос пушных зверей. И вот, пока ничего нечаявшие, спокойные за свои шубы гости угощались чаем и беседами, в это же время, через пару стен, в прихожей, острые ножницы, водимые дрожащими руками, выстригали образцы мехов, чтобы затем сделать из них подобие «волосяных гербариев».

Проходит 2-3 года и счастье улыбнулось юному натуралисту.

В первый раз ему представилась возможность провести часть лета за городом, ныне в пригороде, а тогда хранившем еще много деревенского в Петровском Парке. И возможно было наперед сказать, к каким созданиям обратятся всего прежде взгляд и руки молодого собирателя.

Мир насекомых, столь заманчивый в своем разнообразии и столь доступный в деле собирания, доставил первые полу-научные трофеи, первые триумфы юному зоологу.

Часами мог 9-ти летний мальчик бродить по полям и рощам в поисках жуков и бабочек, высиживать за расправилкой или рыться в описаниях своих букашек и рассаживать их по коробкам.

Но прошло опять немного лет и увлечение насекомыми сменилось более глубокой и решающей в своей конечной роли страстью — коллектированием птиц и увлечением препараторским искусством.

Первое знакомство — в 1892 году — с элементарной техникой набивки чучел (зароненные одним любителем-охотником, ¹ принесшим как то мертвую сороку, тут же на виду у мальчика затем отпрепарированную), в глазах последнего явилось настоящим откровением. Как зачарованный смотрел он за работой, с восхищением следя, как из безжизненного смятого комочка перьев словно возрождалось прежнее живое существо, сверкая белизною, бархатом и блеском своего наряда. С этого момента позабыты были насекомые с их более скрытой жизнью и застывшей красотой: в своих распяленных цветистых трупиках они не

¹ давно покойным Федором Юльевичем **Фельманом**, долгие годы бывшим первым практиком-руководителем пишущего эти строки в деле приобщения его к познанию родной природы.

оставляли элемента творчества для молодого собирателя. Отныне все внимание его было захвачено другими обитателями воздуха, более близким и понятным и духовно более одаренным миром птиц.

С этого времени начало той всепоглощающей стихийной страсти, что когда то побуждала Дарвина-подростка видеть в «каждом джентльмене» Орнитолога, а пишущего эти строки привела к созданию Дарвиновского Музея. Потянулись годы неустанный, упорного труда в овладении препараторским искусством, открывавшим новые возможности, столь привлекательные для ребенка- горожанина; приблизить этот издавна манивший его мир животных, закрепить его причудливые образы, продлить даваемое им очарование.

Оглядываясь на означенный период «таксидермического» увлечения, нетрудно видеть в нем одну сплошную школу будущего музеолога, арену испытания воли и свободной инициативы. И последняя потребовалась с самого начала. Не легко давались первые шаги, доселе памятные автору: его знакомства по подвалам захолустных улиц с препараторами-кустарями для выведения их незатейливых приемов; регулярные воскресные обходы птичьего базара, этой закрепленной Чеховым и знаменитой некогда «Трубы», когда-то собиравшей днем любителей живых, а рано по утрам — охотников до мертвых птиц; предрассветные вставания и многочасовые, не взирая на мороз и дождь, выстаивания на базаре в ожидании приезда подмосковных птицеловов с их добычей; — возвращения домой с карманами, набитыми пичужками и далее, до поздней ночи продолжавшиеся неустанные работы по отпрепарированию их. Замкнувшись в своей комнатке и обложившись книгами с изображениями монтируемых птиц, 14-ти летний мальчик отдавался весь своей работе — передаче облика, движения и поз своих любимцев.

Непрестанно совершенствуясь в своем искусстве сохранения последних, сотнями их переделав и заполнив ими всю свою каморку, превращенную в подобие миниатюрного музея — его юный обладатель только на 16 своем году нашел достойного учителя в лице известного в ту пору препаратора-натуралиста Ф.К. Лоренца.

Сближению с последним суждено было сыграть решающую роль в деле создания Дарвиновского Музея. Чувством долга, исторической правдивости и благодарной памяти о Федоре Карловиче Лоренце, как создателе Музея — продиктовано все содержание последующих строк.

Редкое, глубоко необычное явление на фоне русской жизни представляли из себя путь жизнь и духовный облик этого талантливого человека. Сын ткача, почти без всякого образования, окончивший трехклассное училище — Ф. Лоренц силой собственного дарования из роли мелкого фабричного работника пробился к положению известного натуралиста, знатока отечественной фауны, автора ценных и на Западе зоологических трудов, сотрудника московской профессуры и руководителя трех поколений русских молодых зоологов.

Не в меньшей степени, однако, Лоренц был известен в роли основателя крупнейшего в России препараторского дела, как руководитель хорошо известной некогда и за пределами России мастерской, в течение почти полвека поставлявшей в русские и заграничные музеи тысячи редчайших экспонатов и преимущественно высших позвоночных — млекопитающих и птиц.

Новатор в области научной таксидермии — искусства сохранения в художественно научных препаратах формы и движения животных, — Лоренц исключительным своим успехом в этом деле был обязан трем природным дарованиям: любви к природе, редкой наблюдательности и стоящей за всем этим — редкой эстетичности своей натуры.

Ярко и неизгладимо на всю жизнь сохранилось в памяти у пишущего эти строки первое его знакомство с его первым подлинным учителем.

То было сорок с лишним лет тому назад; — в ясное, свежее октябрьское утро. Молодому энтузиасту робко, трепетно, как «ученику» из Фауста, в первый раз переступившему порог оригинальной мастерской «Музея» Лоренца — эта последняя представилась как некий сказочный волшебный мир. Самые редкие создания, звери, птицы, в изумительно живых и жизненных движениях толпились на полу, теснились по стенам свисали с потолка, а среди них, этого хаоса животных, обрамленная ими, стройная фигура самого волшебника-натуралиста с выразительным лицом, чертами прирожденного художника.

В двух отношениях знакомство с Лоренцем явилось благодетельным для будущего основателя Музея:

Укрепился эстетический подход к природе, в понимании животной формы.

Привнесен был методический, научный элемент в наивно-дилетантские дотоле сборы.

Оценить эту двойную благотворительную роль покойного Ф. Лоренца возможно лишь на фоне исторического прошлого, именно школьного режима того времени. Достаточно напомнить полное отсутствие в гимназиях преподавания науки о живой природе, полное отсутствие живого слова о природе мертвой. Что же удивительного, если в небольшом Музее-мастерской, в беседах с вечно-юным, не взирая на свои седины, Лоренцем росли и крепились и формировались интересы будущих зоологов. И до чего же привлекательными были когда-то эти «Лоренцовские беседы» в небольшой уютной скромной мастерской, уставленной коллекциями любимых им животных! Задушевные, простые, чуждые академизма, эти незабвенные беседы закрепили окончательно призвание пишущего эти строки, как натуралиста-музеолога.

К этому времени, примерно к осени 1896 года, относятся и первые значительные приобретения для будущего Дарвиновского Музея, ряд прекрасных, образцовых препаратов, приобретенных у Лоренца на льготнейших условиях. Едва ли нужно говорить, что эти первые музейные объекты отбирались независимо от их «идейной» ценности, а лишь на основании их относительной музейной редкости и часто только внешнего художественного эффекта.

Параллельно с этим продолжалась и собственноручная набивка чучел, заполнявшая попрежнему все праздничные дни. Часть самодельных чучел продавалась на сторону любителям-охотникам, а вырученные деньги шли на приобретение «Лоренцевских» препаратов.

Материал для собственных работ в избытке поставляли регулярные Воскресные обходы птичьих рынков и все возрастающая в ту пору связь с Московским Зоосадом, в лице тогдашнего его директора (А.И. Антушевича) охотно помогавшего юному натуралисту безвозмездной передачей трупов небольших зверьков и птиц. Увеличению коллекции содействовали также скромные охотничьи экскурсии по подмосковным местностям, а в 1899 году по побуждению того же Лоренца и при поддержке некоторых московских орнитологов (профессора М.А. Мензбира и П.П. Сушкина) предпринята была со школьной гимназической скамьи — самостоятельная пятимесячная поездка в Западную Сибирь. Посещены были часть бывшей Акмолинской и Семипалатинской области и озеро «Чаны» в Барабинской степи.

Ярко и неизгладимо сохранилось до сих пор в воспоминании пишущего эти строки его первое знакомство с незатронутой еще тогда природой Западной Сибири: черная кайма тайги на фоне зарева «палов», березовые лабиринты островных лесов, степная даль над морем ковыля, равнины солонцов, смыкающие горизонт и далее, к Востоку, по ту сторону от ленты Иртыша — Барабинская степь и озеро «Чаны»: двойное море волн и камыша.

Но глубже и проникновеннее, чем общие картины видимой природы, западали в душу юного зоолога явления животной жизни посещенных мест: весенние турниры косачей в сине-стальных dospexax, белых перевязях, алых касках; — рев гагары на таежном озере; — станицы лебедей, размеренно и плавно рассекавшие облитые вечернею зарею небо; мощные орлы, вздымавшие из-под ног; — клекот орлана над рекой; — плеяды чаек, куликов, гусей и уток, их немолчный стон и хохот по затонам рек... все эти и другие сцены девственной природы глубоко запали в ум и сердце юного натуралиста, как источник аутопсихических картин и образов, за счет которых приходилось жить и творчески работать долгие десятилетия затворничества в душном городе.

Характерно однако, что и под открытым небом, в нелюдимой степи и тайге Сибири, наблюдения и сборы диктовались не одними лишь научными заданиями, исследованием местной фауны. За коллектором-охотником и за фаунистом-систематиком попрежнему стоял все тот же музеолог и все тот же не рассудочный, а эстетический подход к природе и ее созданиям. Это необычное врывание музейных целей в производство фаунистических научных сборов побуждало часто молодого музеолога трудиться и во время «полевых» работ над воссозданием облика своих трофеев. Это необычное увлечение препаратным искусством и в условиях походной жизни то в глухой тайге, то в солонцевой степи, в кочевых кибитках к изумлению их жителей, давало повод к нареканиям со стороны московских орнитологов, к упрекам в непроизводительной затрате времени. Естественные для своей поры упреки эти оказались неоправданными в будущем. Составленная тотчас же по возвращении из поездки (осень 1899 года) специальная статья о фауне посещенных мест бесследно потонула в море сходных орнитологических заметок. И наоборот: поставленные в душных хатах Барабы и в дымных юртах кочевых аулов препараты птиц — легли в основу будущего Дарвиновского Музея, — учреждения европейского масштаба.

Впрочем, в разбираемую пору, на пороге настоящего столетия, не приходилось говорить о Дарвине. Лишенная объединяющей идеи, составление Музея диктовалось о ту пору больше эстетическими целями с

обычным для любителей и дилетантов краеведческим уклоном. И легко понять, что с понижением интереса к частной систематике терялись импульсы и к собиранию музея. Первое знакомство на студенческой скамье с творениями Дарвина и Геккеля заставило на время позабыть вопросы частной зоологии. Вот почему участие автора летом 1902 года в предпринятой профессором (позднее академиком) П.П. Сушкиным поездке на Саяны экспедиции, в которой пишущему эти строки удалось самостоятельно обследовать предгорья Саян — явилось для последнего психологическим анахронизмом. Отделенная от предыдущей лишь тремя годами эта новая сибирская поездка не могла вернуть очарования первой, не взирая на волшебную сказочную красоту исследованных мест. В посеребренной месяцем тайге, в струящейся на солнце степи; у облитых утренней зарей Саян и угасающего в предзакатном блеске Енисея — все настойчивее говорила о себе годами зародившаяся склонность проникаться более величием идей и мыслей, чем великолепием ландшафтов: перед красотой мыслей Дарвина и Геккеля, перед блеском слова Вейсмана и Геккеля терялась красота Саян и блеск зари на Енисее.

Навсегда, еще до оставления Сибири, было брошено ружье подаренное автором сопровождавшему его в тайге охотнику-сагайцу, а по возвращении в Москву все средства и усилия были направлены на приобретение книг по общей биологии. И в той же мере, как внимание автора дотоле обращалось к Азии, все устремления и помыслы его отныне направлялись к Западу, к отчизне Дарвина и колыбели эволюционного учения.

Некоторые обстоятельства частной жизни неожиданно придвинули осуществление заветной мысли о поездке за границу, состоявшейся отчасти при содействии тогдашней председательницы Общества Грамотности В.Н. Бобринской, в доме которой автор в продолжении многих лет давал уроки по Естествознанию.

Ближайший путь направлен был на Юг, к Зоологической приморской Станции Вилл-Франш, около Ниццы, для ознакомления с морской фауной, красота которой помогла забыть и неприветливые стены Станции (бывшего здания тюрьмы), и неприглядность окружающей природы, и бессмысленность и пошлость жизни вне Лаборатории. Познавшего нетронутую красоту Саян не трогала красота подмалеванной Ривьеры, напоенной ароматом роз, автомобильной гарью и духовным смрадом игорных притонов Монте-Карло.

Тем значительнее для последующей жизни автора и для судьбы его Музея оказались некоторые знакомства того времени и в частности с приехавшим на Станцию приватдоцентом, ассистентом Вейсмана — Коэнрадом Гюнтером. Многогранно образованный, с широкой даже для немецкого масштаба — философской подготовкой, мастер слова, Гюнтер, приезжая в Вилла-Франку, прихватил с собою томик незадолго перед тем опубликованной им книги, посвященной изложению основных вопросов эволюционного учения. И каковы бы ни были другие импульсы, приведшие к созданию Дарвиновского Музея, автор этих строк доселе с благодарным чувством перелистывает иногда изящный, небольшой зеленый томик Гюнтера, задавшегося благодарной целью — претворить на частных фактах окружающей природы высшие проблемы общей биологии.

Знакомством с Гюнтером исчерпывалась главная и осязательная польза пребывания на Вилла-Франкской Станции для будущего основателя Музея. По совету и рекомендации того же Гюнтера дальнейший путь направлен был на Фрейбург, в местный университет, для посещения лекций величайшего из дарвинистов того времени, стоявшего в зените своей славы — Вейсмана.

С невыразимой радостью приветствовался день отъезда из докучной Вилла-Франки с ее грязными отелями, и «пыльными оливами», бездарными фанфарами «Шассер-альпин», с автомобильной копотью и вонью пролетающих из Ниццы в Монте-Карло и обратно обирающих друг-друга игроков-виверов.

С облегченным сердцем грязенький французский поезд был сменен на еще более заплеванный и грязный итальянский поезд, а последний в свою очередь на ослепительный опрятный швейцарский и немецкий поезд, чтобы в ясный солнечный апрельский день подъехать к Баденским «Афинам» — Фрейбургу.

Второе в Германии по красоте расположения (после Гейдельберга) Фрейбург, как университетский город, привлекал в ту пору взоры молодых биологов прославленными именами Вейсмана и Видерсгейма.

Помнится, как при проезде ранним утром по еще пустынным улицам в отельном омнибусе сладко и тревожно замирало сердце от сознания, что это город величайшего из дарвинистов. «Август Вейсман!» с истинным благоговением твердил перед собою юный энтузиаст, переступив порог Зоологического Института и затем, присутствуя на «размышлениях вслух» великого ученого, столь непохожих на обычные академи-

ческие лекции... Тем огорчительнее было отказаться от приватной встречи с выдающимся биологом. «Зачем знакомиться Вам лично с Вейсманом — достаточно послушать его лекции!» так говорили пишущему эти строки молодые местные зоологи. И глядя на суровый облик фрейбургского мудреца невольно приходилось соглашаться с этим.

Более осуществимой оказалась мысль познакомиться с другим большим ученым, величайшим дарвинистом — Эрнестом Геккелем.

Неизгладимо ярко на всю жизнь закрепились в памяти и сердце пишущего эти строки первое его знакомство с Геккелем, этим «Немецким Дарвином» и обаятельнейшим из людей.

Прибытие в тихий, теплый Майский вечер в Иену, этот небольшой и скромный «город муз», прогулка по его окрестностям и посещение на утро института Геккеля. Запрос у старого служителя великого ученого, у его преданного «фамулуса» Франца Поле, проводившего к дверям рабочей комнаты «Его Превосходительства», автора «Общей Морфологии», «Естественной Истории Творения», и «Мировых Загадок»...

Робкий стук в двойные двери и приветливое, полнозвучное «Herein!» Высокая большая светом залитая комната, уставленная книжными шкафами. Простенькие деревянные столы, заваленные книгами и среди них высокая и горделиво-скромная фигура, величавое чело посеребренное сединами в поисках истины, приветливое, словно все светящееся изнутри лицо семидесятилетнего ученого.

Привыкший к посещениям такого рода Геккель все же, видимо, был тронут, несколько растерянно, почти смущенно повторяя: «Aber gar kein Grund!» на обращенные к нему слова признательности «Für die vielen schönen Stunden, welche einzig und allein dem Studium der Werke Häckels zu verdanken waren....»

В завязавшейся затем беседе он немало удивился, услышав, что его юный посетитель хорошо знаком не только с популярными его работами, но и с классической, фундаментальной «Общей Морфологией»...

Любезно вызвавшись продемонстрировать свою коллекцию скелетов Антропоидов, дав разрешение на посещение своих лекций и Музея, Геккель подписал свои фотографические карточки, врученные им на прощание.

При виде этой бодрой, просветленной страсти великого ученого не думалось о личной драме, незадолго перед тем им пережитой (и раскрывшейся лишь из опубликованной посмертно переписки...), еще менее об академической трагедии, о «Лировской Трагедии» Эрнста Геккеля, всего лишь четырьмя годами позже вынужденного, по требованию им лично приглашенного преемника и бывшего ученика, оставить эти стены, этот Институт и основанный им «Филетический Музей».

С глубоким благодарным чувством покидалась Иена, чувством лишь однажды повторившемся затем при посещении создателя Музея Мутационного учения, знаменитого ботаника де-Фриз'а.

Август в Амстердаме. Утро. Далеко от гавани, но воздух весь пропитан острой влагой, тянущей от моря, шепчущей о близости непокоренной до конца стихии, вечно угрожающей стране. Врагом и другом, по бесчисленным каналам, вероломно и доверчиво проникала она в сердце города, отображая, омывая, подмывающая здания, сады и парки. Возле одного из них, у Ботанического Сада, долго, но напрасно автор этих строк бродил разыскивая то единственное, что его привлекало к «Северной Венеции»: — одно растение и одного ученого-культуры «Энотеры Ламаркиана» и ботаника де-Фриза Тщетны были личные обходы Сада и распросы служащих на трех различных языках: из флегматичных реплик служащих-голландцев ничего не выяснилось. С грустью вспоминая о «Каннитферштане», приходилось обратиться к личным розыскам.

Узнав приватный адрес знаменитого ботаника и подойдя к подъезду его дома, неподалеку от Сада, приходилось все же призадуматься.

День был Воскресный, город только просыпался и стучаться в двери знаменитого ученого в столь ранний час казалось величайшей дерзостью. И все же до отхода поезда по взятому из Лондона билету оставалось мало времени и приходилось торопиться.

Робко прозвучал звонок и тем увереннее и красноречивее поток горячих извинений перед вышедшей по зову горничной солидной дамой.

Но, увы! — на просьбу посодействовать свиданию с де-Фризом и его культурами послышался ответ, что сам профессор спит и до обеда никого не примет.

Надо думать, что спокойной и уравновешенной голландской даме все же неизвестно было, что такое русская эмоциональность в сочетании с английской настойчивостью и немецким энтузиазмом. Мысль покинуть Амстердам, не увидев де-Фриза, показалась до того ужасной, горе молодого посетителя так искренно, так неподдельно заверения его, что для него весь приезд из Лондона, весь Амстердам и вся Голландия и все ее коллонии сосредоточены в одном цветке, в одном лишь имени де-Фриза, что растроганная дама предложила обождать.

Томительное ожидание и быстро и порывисто, походной юношески бодрой, не взирая на свои уже немолодые годы, в комнату вошел де-Фриз.

Нервное худощавое лицо с живым и острым взглядом. Дружески приветливо пожавши руку молодому гостю и не давши времени для извинений, на ходу одевши темный плащ и черную с широкими полями шляпу, явственно напоминавшие таковые Дарвина, де-Фриз любезно предложил своему гостю следовать за собой.

Опрятными задворками пройдя короткий путь до Ботанического Сада, де-Фриз остановился перед незамеченной дотоле его частью, огороженной высоким и глухим забором. Поворот ключа — порог калитки — и, как зачарованный, взор замер перед сказочно-волшебным видом: перед морем золотисто-желтых, ослепительных до боли глаз цветов, которыми было усыпано все видимое пространство Сада. Только погружаясь в это море золота, в этот сверкающий его поток, возможно было различить отдельные его струи и волны. Там стена высоких в метр и более растений, мощными стеблями и тяжелыми соцветиями; здесь — другие, вдвое низшие с изогнутыми стебельками и широкими листочками, там листья стрельчатые, как у ивы, там округлые с поникшим стеблем, а еще поодаль — миниатюрные цветочки с крошечными золотистыми коронками. Это культуры Энотеры (*Oenothera Lamarckiana*) того самого растения, от которого де-Фриз пытался вырвать разрешение загадки эволюции живых существ...

Волшебной «Андерсеновской» сказкой сохранилось до сих пор в воспоминании пишущего эти строки, время, проведенное в саду де-Фриза, в этом отгороженном от мира море золота, в общении с самим волшебником чародеем, темною фигурой так рельефно выделявшимся на фоне им же вызванного к жизни золотого царства.

Торопливо двигаясь среди цветов, срывая образцы «мутаций», оживленно объясняя их, де-Фриз, все время провожаемый восторженным вниманием молодого гостя, расставаясь с ним, вручил ему этот перед его глазами собранный живой гербарий.

Тридцать с лишним лет прошло с описанного «золотого утра», а воспоминания о нем доселе живы у посебренного сединами бывшего посетителя де-Фриза.

Поразительнее то, что и со стороны последнего столь неурочный визит молодого энтузиаста оказался незабытым, как то явствует из одного полученного несколько лет тому назад (10.11.28) письма де-Фриза к пишущему эти строки.

«Ihr freundlicher Besuch im August 1905 ist mir noch in bester Erinnerung, Sie waren damals noch Cand. Zool. Jetzt freut es mich Sie als Kollege zu begrüßen..»

(«Ваше любезное посещение в Августе 1905 года мне еще в доброй памяти. Вы были тогда еще только кандидатом Зоологии, теперь меня радует, что я могу приветствовать Вас, как коллегу..»)

Опуская ряд менее ярких встреч с профессором Форбрингер, Гаути, Кейбель, Видерсгейм и многие другие — ограничимся лишь приведенными тремя.

Невольно хочется спросить себя: что абсолютно ценного осталось от тех встреч, по истечении десятков лет? Упрочились ли в понимании пишущего эти строки собственно научные наследия де-Фриза, Геккеля

и Вейсмана? Как будто судьбы Нео-Дарвинизма, Дедуктивной Зоологии или Мутационного учения де-Фриза не были ли тогда предreshены?

В общении **человеческом** и в непосредственном проникновении к живой душе великого ума и его внутреннему пафосу, — не в этом ли таилось главное, непреходящее значение трех встреч?

При всей их мимолетности, именно эти встречи закрепили в сердце, пишущего эти строки, чувство пиетизма к выдающимся героям мысли, приведя впоследствии к созданию историко-биографического подотдела Дарвиновского Музея.

Претворенное в художественных образах, резцом и кистью скульптора художника, именно это чувство преданно-любовного проникновения к истории науки и его творца хотелось автору внушить и молодому посетителю Музея, памятуя изречение великого ученого:

«Кто хоть однажды приходил в соприкосновение с одним или несколькими людьми первого ранга, — того духовный масштаб на всю жизнь изменен..» (Гельмгольц).

И однако, о конкретном творческом использовании тех личных встреч в ту пору и не грезилось: единственным реальным следствием их было укрепление в сознании автора идеи эволюции, как изначального принципа современного научного мировоззрения. Воспринятая до того только рассудочно, из книг идея эта, претворившись в исторических реальных образах ее обоснователей, упрочила в сознании автора свою реально историческую роль, дала эмоциональный стимул к ее действительному выявлению, без которого самые лучшие идеи оставались бы бесплодной абстракцией.

И можно без труда представить, где, каким путем, в какую форму отольется это нормативное стремление воплотить воспринятые за границей образы и знания для служения обществу: не книгой и не устным словом, а наглядной формой вещного показа. Говоря иначе — мысль о музейном претворении важнейших фактов, доводов и обобщений эволюционного учения в форме хорошо доступной для широких масс — идея эта, пишущему эти строки, представлялась наиболее реальной, близкой и практически осуществимой.

Таковы мотивы, побудившие когда-то, тридцать с лишним лет тому назад, перевести внимание автора от Институтов и от личностей ученых на музеи, как рассадники широкой популяризации науки.

От идеи — к ее внешнему отображению.

Первая была навеяна великими учеными, второе ожидалось от общения с крупнейшими музеями.

Музеи Запада... десятками прошли они перед глазами автора во всех крупнейших центрах Западной Европы: в Вене, Мюнхене, Берлине, Штутгарде, Бреславле, Кельне, Бонне, Галле, Иены, Гамбурге, Альтоне, Лейпциге и Дрездене, Париже, Брюсселе, Антверпене и Амстердаме.

Трепетно-настороженно-вдумчиво бродил повторно автор по великолепным их хоромам. Напрасно думал он найти в них отражение того, что слышалось им с кафедр великих корифеев Биологии об основных проблемах эволюционного учения. Тщетно спрашивал о них, этих по-последних выводах науки, юный ригорист под сводами великолепного «Естественно-научного придворного музея Вены». Все эти десятки тысяч зверей, и птиц, и рыб, и раковин так чинно размещенные за стеклами витрин, были вдвойне мертвы: безжизненностью экспонатов и идеи, ими выявляемой. Идея: показать в естественной системе мир животных целого земного шара! Но кому под силу охватить его? и для чего? Для приобщения к «Системе Организмов»? Но какой? Искусственной — продукта человека, или же «Естественной» — создания Природы? Если подлинной естественной, то в чем ее значение, как Плана творчества, или как хода эволюции? И если эволюции, то где же доказательства ее?

Не получив ответов на вопросы, лишь измученный, усталый после созерцания километров полок, покидает посетитель пышные хоромы Венского музея. Но не то же ли в других музеях? Даже те немногие проблемы общего характера, что фигурировали кое-где в музеях разбираемого типа — иллюстрации картин из местной или чужеземной фауны вызывали сходные сомнения.

Что в разных странах обитают разные животные — усвоить эту истину нетрудно даже детям — детям по развитию и возрасту. Но что же следует, что вытекает из нее? Как понимать такую связь животного и окружающей среды? Как частный случай мировой гармонии законов космоса? И если да, то где законодатель?

Если нет, то где границы отделяющие Хаос? И зачем нам изучать эту гармонию и связь? От осознания ее изменится ли что-нибудь во взглядах, убеждениях людей? Зоолог-краевед, географ могут ликовать при виде новой птички, залетевшей из соседнего уезда.. Самые живые, яркие картины жизни или смены фаун не скрасят, не осмыслят жизни большинства людей, ибо непонятым останется значение и смысл этих истин вне музея, роль и ценность их для общего мировоззрения....

Давно и справедливо было сказано: «Мельчайший факт в природе есть окно, через которое возможно, увидеть вселенную». Но самое окно необходимо прежде увидеть. А окна разные: есть более, есть менее доступные. Есть плотно замкнутые, есть глухие. И не в том ли миссия музеев, чтобы из мириадом окон окружающей природы распахнуть лишь наиболее доступные для мало подготовленного зрителя?

Но почему же так скупы музеологи именно в этом отношении? Как объяснить, что эта благодарнейшая миссия музеев: приобщить широкие круги людей к последним выводам науки и ее конечным обобщениям, так мало понята, так мало проводима ими в жизнь?

Потому ли, что посредством мертвых обликов, остатков жизни, невозможно передать ее живого содержания?

Потому ли, что для популяризации своих конечных выводов под сводами музеев современная наука не вполне еще готова для ответов?

Потому ли, что ответы есть, но недоступны для широких масс народа, «неготового» ее усвоить?

Потому ли, что двухтысячелетняя привычка вопрошать природу через рупор «школы», а не зовом жизни, отучила большинство людей реально связывать науку с повседневной жизненной правдой?

Или потому, быть может, что, как римскому авгуру, современному биологу, на вопль жизни о значении ее в смысле, нечего сказать и неоткуда дать ответа?

Таковы вопросы, что преследовали автора в музеях Бельгии, Голландии, Германии и Франции. Но осталась незатронутой одна страна и то единственное учреждение от которого возможно было ждать ответа на запросы автора.

Перефразируя слова несовременного поэта, можно было бы сказать: «Его мечтою был Музей Британский — Увы! он обманул его мечты!»

Томительный и долгий переезд до города-гиганта! Лондон и его два мира: гарь и гомон улиц и торжественная тишина музеев. Никогда еще контрасты жизни внутренней и внешней не являлись так наглядно осязательно для пишущего эти строки, как при ежедневных посещениях Британского Музея.

Гул и грохот метрополитена. Световые надписи мелькающих перед глазами станций: «Гайд-Парк-Корнер».. — «Бромтон-Род».. и, наконец, «Саус-Кенсингтон».. Миг остановки... несколько секунд и залитые светом, полные людей вагоны исчезают в подземелье. Лабиринт тоннелей. Вы спешите к выходу. Гул приближающейся жизни. Массовый подъемник снова ввергает вас из подземного в надземный Лондон. Несколько минут ходьбы до тихой, малолюдной Кромзель-Роад и Вы у цели:

Грандиозное в романском стиле здание Кенсингтонского Естественно-научного Музея — Отделения Британского Музея — этой величайшей гордости и славы «Старой Англии.»

Вы входите. Гигантский зал: аркады и пилястры, стройно повторяясь подпирают свод, венчая, обрамляя двери, окна, ниши, лестницы и баллюстрады. Надо всем спокойный, мягкий свет, вернее полусвет, диффузно гаснущий на терракоте стен и равномерно обливающий зеркальные витрины зрителей и статуи, смотрящие на них.

Ближайшее ко входу бронзовое изваяние Ричарда Оуэна английского Кювье. Поодаль, сбоку — мраморная статуя его великого соперника — Томаса Гексли, а вдали, на лестнице, царящей над всей залой величавая фигура Дарвина.

Благоговейно смотришь на их мраморы и бронзу, эти закрепленные посмертно облики. Не их ли мысли воплотились здесь во всем, что заполняет залы? Там, в срединной ее части, в этом ряде небольших витрин, не со страниц ди Дарвина сошли все эти образцы причудливых существ?

Но почему так произвольны и случайны план, порядок и подбор представленных примеров? Почему так мало связаны они?

Вот вы остановились перед витриной, посвященной серии домашних кур и голубей. Большие, маленькие, грузные и стройные разнообразнейших окрасок, черные, белые, палевые — все породы, выведенные человеком, отражающие на себе все его потребности, капризы, прихоть, волю ум и самодурство.

Превосходный поучительный пример! А цели экспозиции его для **не** голубевода и **не** куровода? No reply. Ответа нет.

Соседняя витрина. Тридцать с лишним птиц того же вида, возраста и пола, добытые в той же местности и в то же время года. Серия особых куличков в весеннем оперении: черные, белые, палевые, пегие. Что ни птица, то своя окраска. Very curious! Очень любопытно! А причина этого явления? No reply! Ответа нет!

Ближайшая витрина. Черная пантера, черный заяц, белые кроты, вороны галки, very, very curious! Очень, очень любопытно! А причина этого явления? Недостаточность или избыток красящего вещества пера и волоса! Well! А значение и смысл этого явления для самих животных и для посетителей Музея? No reply!

Новая витрина: черные и серые вороны и продукты скрещивания их. Пример гибридизации у диких форм и трудности разграничения понятий «Вид» и «Разновидность». Ну и что же? спросит **не** зоолог.

В чем значение и смысл этого примера? Что такое вид? И почему так важно изучать его? — Ответа нет!

Последние витрины. Уголок пустыни и животные, подкрашенные под цвет песка. Инсценировка тундры летом и зимой: те же животные — Песец, полярный заяц, куропатки, горностаи в их белом одеянии на фоне снега и они же, бурые на темной почве, среди вереска и моха. Очень показательно это приспособление животных к окружающей среде. Понятно и значение этой окраски для самих животных: хищник легче подбирается к добыче, жертве — легче укрываться от врага. Well. Хорошо, прекрасно! А значение этой окраски, этого явления для посетителя Музея? No reply! Ответа нет!

А общий вывод экспонатов всей рассмотренной середины залы? Very curious! Очень любопытно и не более!

Покончив с центром залы, обращаемся к бокам ее. Ряд полусветлых ниш, заполненных изящными витринами. А содержание их? Сотни и сотни изумительных по своему подбору и техническому совершенству препаратов, «поясняющих более важные черты строения известных типов животных и растений.» Все эти бесчисленные препараты черепов и черепных костей, костей, частей их и частей, частей, незаменимы для занятий будущих сравнительных анатомов, но ничего не говорят уму к сердцу натуралиста.

Но допустим, что ближайшая задача понята. Ухвачена идея, мысль о «Единстве Плана» и его модификаций у различных форм. Как понимать его? как выражение творческого плана или хода эволюции? Напрасно ищите вы это слово! это «Сезам» современной Биологии... Глухо, попутно, лаконически отмечено в Путеводителе, что «наличие этого плана общепринято рассматривать, как результат наследования от общих прародителей...» И только... Лишь одна строка о том единственном, что важно и для **не**-зоолога, для всякого серьезно ищущего, мыслящего человека.

Но и этой строчки не находим мы при рассмотрении дальнейших экспонатов, помещенных по другую сторону от средней залы.

Даже там, где содержание объектов как реклама вопиет об их значении и смысле, например, в явлениях поразительного сходства насекомых с листьями, цветами, сучьями растений — никакого объяснения, никаких догадок. Вместо них уклончивое замечание: «Каковы бы ни были действительные объяснения, факты эти очень любопытны, „very curious“ и заслуживают тщательного рассмотрения.»

Да, конечно, очень любопытны! Но естественно спросить: да каковы же общий смысл виденного в этом зале? Цель и ценность содержания его для **не**-зоолога, для **не**-натуралиста?

Эти рядовые зрители — можно уверенно сказать — уйдут из залы не затронутые теми жгучими проблемами, что волновали некогда великие умы увековеченные статуями в залах. Даже более того, уйдут они под знаком Оуенова эмпиризма, а не эволюционной мысли Дарвина и Гексли, лишь затронутой и недоговоренной.

Но однако, спросят нас: а остальные части Кенсингтонского Музея, посвященные систематическим коллекциям. Не там ли, в знаменитых «Галереях» (Galleries) восполнятся проблемы и недоговоренности Центральной «Дарвиновской» — залы?

Обойдем эти другие залы.

Вот ближайшая к центральной — «Северная зала», отведенная под одомашненных животных. Изумительные серии моделей, препаратов, много говорящие заводчику и мало рядовому зрителю. Имеется витрина слепков к иллюстрации Происхождения Лошади — это центральной темы эволюционной зоологии, но она тонет среди множества других тематик, мало связанных с идеей эволюции. Что же удивительного, если в понимании рядового посетителя Музея, «выездной, парадный конь ученых-эволюционистов» тянется в хвосте дербистов-скакунов, скелеты, имена и родословные которых так любовно сохраняются в витринах. Специфичный именно для Англии пример «Биоценоза» спорта и науки, вдохновившего само устройство разбираемой залы.

В еще большей степени эта спортивная черта британского характера сказалась на создании систематических частей Британского Музея, воплотившего в своих стенах классификационный гений Джона Райя, науки, успешно перенявшей и духовное, и материальное наследие Линнея.

Это привнесенные Системы в Спорт и Спорта в создание Системы обеспечило за «Галереями» Британского Музея и несметные его сокровища и теневые стороны их экспозиций. Хорошо известно, что с момента основания Британского Музея гениальным диллетантом Гансом Слоаном и до наших дней крупнейшее большинство коллекций было добыто усилиями частных лиц — любителей-натуралистов и спортсменов-собираателей.

Но то же чувство спорта, домогательство предельной полноты в самом процессе накопления коллекций, тяжело ложится на использовании их широкой массой в направлении более серьезном, чем то свойственно спортсменам и коллекторам.

И эту рознь, этот разрыв мы чувствуем тем более, чем ниже мы спускаемся в ряду животных и особенно при обращении к ископаемым и их формам. Именно под них отведено все первое восточное крыло Музея.

Первая из его зал: **Мир вымерших млекопитающих.**

Гигантский слон и его вымершие родичи: американский Мастоdont, древнейшие слоны и мамонты. Скелеты, черепа, осколки черепов, собрание зубов и челюстей. Как из обрывков фраз и полуслов слагается из каменных костей геологическая Летопись, раскрытая для посвященного, но недоступная для рядового зрителя. Проходим далее. Словно старинные и почерневшие от времени развесистые канделябры, высятся скелеты вымерших оленей с их гигантскими рогами-кронами, орудием турниров... Ламаркистов с Нео-Дарвинистами. Конец Отдела: Исполинские ленивцы, броненосцы и другие чудовища, внушившие когда то Дарвину идею эволюции живого мира. Но о связи всех этих созданий с величайшим обобщением науки посетители Музея ничего не узнают.

Соседний зал: мир ископаемых рептилий, пресмыкающихся Ихтиозавры, Плезиозавры, Динозавры.. полнзвучные названия и все менее полновесные объекты. Чаше, и чаще гипсовые слепки дополняют подлинные кости, а воображение — подлинное знание. Редуют целые скелеты, умножаются обрывки их, любовно, мозаично размещенные в витринах по стенам. Все меньше привлекают они взоры зрителей, бесильных охватить их глазом. И последняя возможность этого теряется при переходе к залам с ископаемыми рыбами или моллюсками. Все эти тысячи окаменелых островов и раковин, все эти трижды мертвые останки-известь, возникавшая при жизни и посмертно превратившаяся в камень, мертвы ныне в отношении идейном: Равнодушно и поверхностно скользят по ним уставшие и притупившиеся взоры посетителей. Последний взгляд какой-нибудь саженной рыбе, еще раз всепримиряющее «Very curious!» и нас тянет вон из мира камня, из Отдела Палеонтологии. А вывод из его осмотра? А итог его?

Величие картины жизни на земле, ее былого населения, но еще более — величие картины смерти и уничтожения.... Да, гибель всех этих бесчисленных созданий от гигантских динозавров до мельчайших корне-ножек, остовы которых создавали берег Англии, понятнее, чем то, что порождало их. И на вопрос о том, что вызывало к жизни этих великанов и пигмеев, мертвые свидетели их вымершего царства, эти каменные сфинксы, ничего не говорят. С украшенной мозаикой скелетов стен, с зеркальных полок и витрин, заста-

вленных камнями и костью, на вопрос о жизни, о ее природе и происхождении, нам слышится все то же: No reply! Ответа нет!

Мы переходим к левому крылу Музея, посвященному всецело современной фауне.

Начинаем с залы, отведенной птицам.

Нелегко вообразить отличия, более яркие, чем выступающие при сравнении этой залы с предыдущей. Там, катакомбы каменных костей, - здесь красочные цветники.

Взгляните на витрину «Райских Птиц»: каскады тонких, нежно рассеченных перышек, волнами, струями спадающих с боков. Фонтаны белые ультрамариновые, красные, оранжевые, желтые — вся гамма спектра, переливов радуги... Или, орнаменты другого стиля: черные бархатные веера и шлейфы со сверкающей отделкой, огненные золотистые, смарагдовые ожерелья, галстуки и диадемы.

Или посмотрите на собрания Колибри, многоцветных гномиков, сверкающих топазами, рубинами, смарагдами и аметистами; или поодаль — на коллекцию фазанов: хохолки, султаны, шлейфы, веера, щиты и опахала, поражающие то великолепием цветов, то совершенством графики.

При виде этой сказочной волшебной красоты невольно хочется спросить Кто ювелир? кто мастер этих украшений? Почему и как сложились все эти орнаменты?

Но тщетно будем мы искать ответы на вопросы эти. Ни в объемистом путеводителе, ни в объяснениях к витринам о значении и смысле, о причинах этой красоты вы не узнаете ни слова. На особых пояснительных стенных табличках излагаются принципы систематики отдельных групп. Указаны число и отношение пальцев, перьев, очертания грудины и ее отростков. Вы узнаете, что «райских птиц» относят к вороновым птицам, что колибри родственны стрижам, фазаны — причисляются к куриным. Красота одних и неказистость оперения других и скромность третьих не становятся от этого понятнее.

То же при знакомстве с остальными залами.

Так в Галлерее раковин, моллюсков — занимательна модель крупнейшего Спрута, неоправданно знакомство с сотнями ракушек. В зале Пресмыкающихся и рыб занятно посмотреть на Динозавров и Акул и не за чем — на сотни их миниатюрных родичей.

И то же в экспозиции Млекопитающих.

По узкой лесенке вы сходите в «Китовый Зал».

Громадные тела былых властителей морей, последний отзвук прежнего размаха жизни. Заполняя залу тянутся ряды колоссов, подавляя глаз размерами, Ум — необъяснимостью, обилием вопросов ими пробуждаемых.

И в самом деле. Почему одни — гиганты, а другие — нет? Одни вооружены зубами, а другие — нет? Одни смоляно-черные, другие белые, а третьи пегие? Вот прототипы легендарного «Единорога», чучела, модели, черепа Нарвалов с их спирально-скрученными бивнями..Но для чего этот саженный одинокий зуб, и каково его значение и смысл для Нарвала и для...посетителя Музея? No reply! Ответа нет!

Но вот другие залы и другие звери. Длинной чредой сменяются они перед глазами. И чем далее, тем все бессильнее желание наше охватить осмыслить, оправдать идейно это видимое море форм. И тем все больше угрожает нам опасность потерять за деревьями — лес, за лесом закрываемый им горизонт.

Взгляните на коллекцию копытных, в частности на антилоп, — эту извечную арену спора и юдоль печали систематиков: мелкие, крупные, легкие, стройные, грузные, тяжелые, пестрые, тусклые, с рогами шило-сабле-лиро и спиралевидными... скелеты, чучела, рога и черепа, не лес, а самые деревья мы рискуем потерять из-за обилия листвы и сучьев. Фаунистический пассианс для систематиков-зоологов, шарада для охотника-спортсмена и.. пустое место для ума и сердца **не**-натуралиста.

Но не то же ли и в отношении других зверей, толпящихся вокруг нас? Последний взгляд на некоторые уники — гигантский рог быка и носорога и нас тянет вон из царства рога и копыта в смутных поисках других

сущест, более призванных ответить на запросы не зоологов-фаунистов, не спортсменов собирателей, не краеведов-музеологов, но самой ценной категории людей: правдиво, непредвзято ищущих опоры для научного мировоззрения.

И мы находим их, эти другие существа.

Последний зал, вернее полузал, на третьем этаже: «Mammals including Man», «Млекопитающие включая человека».

Три ряда витрин. Срединный ряд — карикатуры человека-обезьяны высшие и низшие, крупные и мелкие, с космами, чубами, баками, усами и без них.

Посмертно искаженные рукою смерти и художника создания эти и за стеклами Музея сохранили отражение человеческого облика. Застывшие в людских движениях, с полулюдскими лицами они как будто шепчут Вам: Мы — это Ты! «Ты» — не зоолог и не краевед, не современник Радио, экспрессов и аэропланов, не властитель, а дитя природы, не успевший подчинить, успевший позабыть ее.

И ярче, неотвязнее, чем где либо, охватывает нас сознание единства нашего с животным миром, эта «тайна тайн», недавно лишь разгаданная на глазах у нас на фактах эмпирической науки для знакомых с ней.

А для широкой массы посетителей все эти жуткие «Мemento» человеческого прошлого безмолвны и бессмысленны. Словечко «Дарвин» в лучшем случае сорвется неуверенно и робко, чтобы тут же замереть бесследно, ибо ничего не сделано для выявления великой мысли величайшего из провозвестников идеи эволюции.

А как не трудно было бы отобразить ее! Поставьте рядом человека и его звериных родичей, сведите оба ряда с их смыкающихся звеньях, и как в замыкающейся цепи вспыхнула бы искра эволюционной мысли.

А на деле? Три несвязных ряда форм. Ряд средний — Обезьяны. Левый — Человека, правый занятый Лемурами и Насекомоядными. Три ряда, три отрезка цепи. Где начало, где конец? Как их соединить, эти обрывки нитей «в одну живую нить»? За счет чего? Свидетельства Эмбриологии, но ее нет в Музее.

Данных ископаемых остатков? Но они покоятся далеко в нижнем этаже, в Отделе Геологии.

Сравнением существующих приматов? И мы долго ищем, прежде нежели найти его.

В далекой, противоположной Выходу части залы небольшая плоская витрина привлекает своей надписью: «Comparison of Man and Ape» «Сравнение Человека с высшей обезьяной». Кость за костью сопоставлены, отдельные части их, но увы! — только они одни. За частью потерялось целое. В гирляндах косточек исчезли, растворились для неопытного глаза и животное, и человек. А назначение Витрины? Обращаемся к Путеводителю (Generall Gid 1903, стр.66) Читаем: «Демонстрация многих из анатомических отличий, разделяющие отдельных человекообразных обезьян от человека.»

А роднящие их признаки? То общее, что нас объединяет с ними? То, что при одном лишь взгляде на карикатурные их облики сжимает сердце и тревожит ум сознанием связи и взаимной обусловленности? No reply! Ответа нет!

Как в предыдущих залах, так и в данной зале содержание ее предполагается полезным, поучительным и интересным независимо от всяких обобщающих идей.

Ну да, конечно, поучительны и все другие экспонаты той же залы: демонстрации приемов измерения черепов, исследования отпечатков пальцев... как и многое другое...

Very interesting! Очень интересно и полезно даже в обывательской жизненной практике... И все же, за запросами этнографа и антрополога, криминалиста, обывателя, преступника, забыли...человека! рядового мыслящего человека! О его происхождении, о связи с окружающим животным миром, о природе этой связи заключительная зала говорит не более, чем все другие, ранее осмотренные нами...

И в раздумье покидаем мы этот последний зал. Спускаясь по широкой лестнице с широким видом на гигантский входной зал и его статуи, бросаем им прощальный взгляд. Все те же три, но они ближе и понятнее

теперь: спокойный, с «уходящим» взором Дарвин, одиноко диспутирующий Гексли и ушедший в изучение кости Оуэн.

Да и в самом деле. Грандиозное создание, Музей Британский и доселе представляется апофеозом фактом больше, чем апофеозом мысли. Эмпирически (from bone to bone — фром бон ту бон) «от кости к кости» и от формы к форме тянутся за стеклами его сплошные описания, как если б никогда на свете не жило ни Дарвина, ни Гексли. Так случайны, спорадичны робкие экскурсы в область эволюционного учения, так недосказаны даваемые объяснения: идеи Дарвина не провожают зрителя по залам, еще менее по выходе его в самую жизнь.

А причины этого?

Уступка ли общественному мнению «церковной» Англии, епископам Кентерберийскому и Лондонскому, возглавляющим Совет Британского Музея (Board of Trustees)?

Неумелость ли организаторов Музея — мировых ученых, но неопытных как методистов-музеологов?

Присущая ли англичанам вообще способность находить «необъяснимую значительность» в предметах «примечательных» (remarkable), как таковых, помимо их идейно объективной ценности?

Бить может, опасение, что брошенные в массы эволюционные идеи приведут к вульгарным, скороспелым выводам во вред и жизни и науки?

Или, может быть, сомнение, неуверенность самих ученых в безусловной истине идеи эволюции, ее значении и роли, как биологической теории и как основы позитивного мировоззрения?

Таковы вопросы, что преследовали автора при покидании Британского Музея и позднее, на пути из Англии в Россию.

Но и там, по возвращении в Москву, росла и ширилась в уме и сердце молодого ригориста зароненная антиномия: пышные хоромы величайшего Музея, недоговоренность его внутреннего содержания.

Несчетные сокровища его сквозь призму времени невольно чудились словно гигантская развернутая книга. Мировая мудрость и красоты мира, жизнь тысячелетий скопились на ее страницах.

Взоры тысячелетий людей из года в год, день за день, устремляются в нее, на литографии земли, офорты смерти, краски, нанесенные самою жизнью... Любовно и старательно все новые листы-таблицы подшивает к этой величавой книге армия ученых брошюровщиков, наборщиков, редакторов, издателей... не зная целей книги и не зная о ее задачах, смысле и конечном назначении...

Тем настойчивее возникала мысль восполнить недоговоренное в стенах Британского Музея, уточнить, расширить, углубить навеянную им идею.

В этой более решительной, законченной, договоренной форме эволюционизм понимался боевым девизом, лозунгом борьбы за современное научное мировоззрение: приобщить круги нашего общества к учению эволюции в его исходных фактах и конечных выводах, наглядно претворить идею эволюции в общепринятой, показательной-демонстративной форме на бесспорных фактах материалистической науки в свете позитивных знаний...

Такова идея. Предстояло претворить ее. Музей есть форма, мысль, проецированная во вне, в объекты материально-чувственного познания, скристаллизованная в них. Новая мысль требовала новых слов — реформы ее внешнего отображения. И всего прежде надлежало устранить или ослабить давнее и основное затруднение, стоящее обычно на пути работы большинства музеев вообще.

В одних музеях, собственно научных, главная идея часто не захватывает зрителей, ибо эмоционально не затрагивает их. В других музеях собственно художественных — основная их идея растворяется в обилии эмоциональных впечатлений. Там бедность, здесь избыток элемента чувства понижают ценность получаемого восприятия. И там, и здесь — теоретическая, познавательная ценность видимого обусловлена эмоционально, поскольку большинство людей в стенах музея (как и в жизни) неспособно проникаться глубоко идеей, несозвучной их эмоциональным волевым импульсам.

Эта глубоко лежащая в основе человеческой природы связанность запросов чувства и ума определила основное и принципиальное нововведение во вновь задуманном Музее: мы разумеем **синтез, сочетание науки и искусств**. В развитие и расширение испытанных дотоле методов наглядной иллюстрации закономерностей живой природы помощью естественно-научных препаратов — было решено использовать возможно шире живопись и скульптуру.

Это обращение к резцу и кисти скульптора-художника в стенах **научного** музея диктовалось тремя следующими мотивами:

Желанием — раскрыть перед широкой массой посетителей гармонию и красоту движения и форм животных, заставить полюбить этот животный мир, нам сродный, исторически нас обусловивший.

Стремлением — ослабить столь обычное для рядового посетителя Музеев распыление его внимания на частное, отрывочное, слишком индивидуальное («Любовь к деталям») направляя взгляд на внутренне-единое связующее, обобщающее, типичное.

Решением — содействовать сближению естественно-научных знаний и гуманитарных, показав учение об эволюции живой природы в историческом аспекте, иллюстрировав главнейшие этапы или фазисы борьбы за современное научное мировоззрение.

Такова тройная вспомогательная роль искусства, как орудия эстетического, обобщающего, исторического претворения естественно-научных знаний. Определилась она далеко не сразу: лишь по мере хода и ведения работы в творческом процессе эволюции идеи учреждения слагались новые пути и формы его внешнего отображения.

Во внимание к этому и памятуя, что задача предлагаемого очерка есть изложение не планов и проектов, но фактических, конкретных достижений — переходим к этой основной задаче: беглому ознакомлению с условиями, зарождения, роста и развития **Дарвиновского Музея** за истекшее **тридцатилетие**.

Из трех слагаемых, определяющих успешность всякого общественного начинания

1. Концепции руководящей мысли,
2. Ее творческой идейной разработки и
3. Ее реального осуществления

этот последний, третий пункт обычно представляет самые большие трудности. Так оно было и на этот раз в деле практического проведения в жизнь идеи нового Музея.

В самом деле. Тридцать с лишним лет тому назад, перед тогдашним основателем Музея предстояла необычная задача. Прямо со студенческой скамьи, не обладая ни общественными связями, ни положением и при наличии лишь самых скромных средств — в размере ассистентского вознаграждения и заработков от уроков — приступить к организации нового Музея. Повторяем: не было ни средств, ни связей, ни общественного положения... Но было некое другое, более могучее условие успеха, то единственное, от которого, в конечном счете, более всего зависит каждое общественное начинание — мы разумеем тот необъяснимый здесь ближе факт, что в **1907 году** для пишущего эти строки мысль о реальном претворении его идеи в жизнь сложилась не как плод теоретической науки и рассудочного интереса, но как жизненный, эмоциональный, волевой импульс. Вот почему в дальнейшем мысль эта захватила все внимание, все помыслы, все устремления автора, с элементарной силой предопределила все его призвание, стала для него стихийным двигателем всей научной и общественной работы, перманентно длительно «ударной», боевой на долгие десятилетия, повидимому на всю жизнь...

Только этим, неакадемическим и книжным, но самую жизнью предуказанным подходом можно объяснить и то, что к делу устройства Музея удалось привлечь ряд выдающихся технических, научных и художественных сил, ту небольшую группу нынешних его работников, от дарования которых целиком зависело достоинство конечных достижений.

Правда, большинство этих сотрудников было известно автору задолго до фактического основания Музея. Их участие в работе автора являлось уготованным заранее, в той мере, как и все создание Музея, согласно предыдущему, обуславливалось всей предшествующей жизнью основателя его...

«Une idée de la jeunesse, développée par l'âge mûr.»

Дарвиновский Музей до Октябрьской Революции. 1896 — 1917

Восходя назад ко времени фактического основания Дарвиновского Музея, попытаемся восстановить те внешние условия, в которых зарождалось будущее учреждение.

При всей их скромности эти условия все же облегчали первые шаги.

Год перед тем (1906) окончен был Московский Университет, окончен с гордым титулом: «Оставленный при Университете для приготовления к профессорскому званию», и с той полнейшей неопределенностью, которая издавна составляла привилегию академической карьеры. Тем не менее, полученное звание давало право на преподавание в Высшей Школе, обстоятельство, сыгравшее решающую роль в истории Музея.

Удачнее, чем правовое и общественное положение, сложились материальные ресурсы. Проживая с матерью на небольшие средства с небольшого дела, автор этих строк мог ничего не тратя на себя и при строжайшей экономии всецело отдавать Музею весь свой личный заработок. Этот последний к разбираемому времени слагался из вознаграждения за участие в ведении практических занятий в Университете, ассистентских гонораров на Московских Высших Женских Курсах и, отчасти, платы за уроки иностранных языков, даваемые в частных семьях: в общем около двух тысяч рублей в год.

Но самым важным и решающим условием успеха было давнее знакомство автора с московскими зоологами-препараторами, и всего прежде надлежало озаботиться с восстановлением этих старых связей с препаратором- натуралистом Лоренцем.

Снова, как и десять лет назад, приветливая встреча в скромной мастерской художника- натуралиста и такой же искренний, сердечный отклик, та же полная готовность помощи задуманному начинанию.

Фаунист и систематик старой школы Федор Карлович едва ли мог понять принципы нового Музея, — благодарность пишущего эти строки к первому его учителю и другу от того не менее глубокая: в миллионном городе, вне всякого участия академических кругов, без тени понимания со стороны, успевший в разбираемую пору растерять бывлых друзей, чужой в родной Москве, всецело занятый своими планами создания Музея небывалого дотоле типа — молодой мечтатель лишь в общении с Лоренцем искал и находил возможную поддержку.

Осязательной конкретной помощь эта оказалась с первой встречи, после беглого осмотра Мастерской-Музея Лоренца. Не мало редкостей успело разойтись по разным учреждениям и лицам за истекшие года, но и оставшегося оказалось вдоволь, чтобы положить начало новому Музею: два десятка чучел, небольшая, но хорошенькая серия примеров индивидуальных уклонений в области окраски — черный заяц, белая лисица, белая куничка, черный волк, несколько выроdkов тетеревиных птиц, — таков был первый транспорт, водворенный несколькими днями позже на квартиру пишущего эти строки, в небольшом шкафу, едва оставившему место для кровати и рабочего стола хозяина.

За первым эшелонem чучел вскоре последовали и другие:

Временно затихнув после первых юношеских лет, страсть коллектирования снова пробудила в авторе и с небывалой силой. Дважды каждую неделю — в Среду и в Субботу — проводилось несколько часов у Лоренца за пересмотром замечательных его коллекций и отбором ценных для Музея редкостей. Как опяненный ожиданием и радостью, спешешь, бывало, к небольшому дому в Мерзляковской переулке на свидание с Лоренцем, за новыми сокровищами, или возвращаясь после окончания занятий с Курсов, поздно вечером, при свете уличного фонаря стараешься бывало заглянуть во внутрь магазина и при тусклом свете уловить контуры заготовленных к ближайшему свиданию чучел.. Да, воистину: «Коллекционеры суть счастливейшие люди!»

«Lieber Freund!» сказал однажды Лоренц молодому своему заказчику и другу «не спешите с новыми заказами! На днях я ожидаю возвращения с военной службы лучшего моего мастера.»

И точно, не всегда удачные по выполнению работы резко улучшились по появлении нового рабочего, знакомого как оказалось еще с первой встречи с Лоренцем в 1896 году, тогда щеголеватому робеющему гимназисту двери в мастерскую отворил один из подмастерьев Лоренца — бойкий, черноглазый мальчик: тоже тонкое интеллигентное лицо, немного вьющиеся волосы и быстрый взгляд острых, пронизывающих глаз. Не думалось тогда двенадцать, ныне сорок лет тому назад, что этот шустрый «Филька» станет главной опорой Дарвиновского Музея, самым верным другом сосоздателем его на многие десятки лет....

«Doch das war Zukunftsmusik» В то время в 1907 году все это было «Музыкой будущего». В разбираемое время — «дядя Филя» как обычно величали молодого мастера другие служащие, от утра до вечера сидел у своего рабочего стола под небольшим окошком Лоренцовской мастерской и набивал лисиц и глухарей, а будущий Директор Дарвиновского Музея занят был оптовым обучением анатомированию лягушек, днем студентов Университета, вечером — девиц на Высших Женских Курсах. Прозаичные до крайности эти занятия молодой зоолог умудрялся проводить с горячностью и пафосом. Довольно бесполезный для студентов (хорошо известно, как бесследно забываются такие однократные анатомические вскрытия и как необходима даже будущим зоологам повторная самостоятельная практика...) курс этот был крайне полезен молодому лектору; так всего прежде как источник заработка для оплаты поступающих в музей коллекций: тысячи распластанных лягушек, претворялись в экзотические экспонаты бабочек и райских птиц, выписываемых от заграничных фирм. И далее, словно предчувствуя ту роль, которую сыграет в будущем свободное слово, автор добросовестно трудился над преодолением неспособности своей свободно говорить в публичных выступлениях.

И тысячи студентов, а впоследствии десятки тысяч посетителей Музея, воздававших должное методике и дикции его директора, конечно, не догадывались о суровой школе, добровольно им когда-то пройденной для овладения лекционной техникой. Каждая лекция от слова и до слова предварительно прочитывалась дома перед шкафом с чучелами, и рука не уставала упражняться в рисовании разноцветными мелками тех анатомических фигур и схем, которые затем свободно воспроизводились перед аудиторией. В итоге долгого упорного труда было достигнуто значительное совершенство в лекционной практике. Оно скоро пригодилось для работы более ответственной.

В конце осеннего семестра 1907 года на Московских Женских Курсах по почину слушательниц поднят был вопрос об учреждении Курса Эволюционного Учения. На срочности введения такого курса горячо настаивали слушательницы последнего семестра. Эта срочность сильно затрудняла подыскание среди года лектора; причина побудившая Комиссию преподавателей-зоологов и Факультет доверить временно прочтение такого курса пишущему эти строки, не взирая на его молодость и отсутствие академического стажа.

Получение означенного курса означало поворотный пункт в жизни Музея и его создателя. Впервые и гораздо раньше, чем мечталось автору, нашли себе живое применение два основных его влечения: лектора и музеолога. В двух отношениях эта связь Музея с курсом оказалась знаменательной.

При абсолютной безнадежности найти в тогдашнем обществе поддержку для основанного вновь Музея, как общеобразовательного учреждения использование Музея, как учебно-вспомогательного аппарата Высшей Школы представлялось лучшим средством упрочения Музея в будущем, а лекционная переработка содержания Музея в высшей степени содействовала планомерности его подбора.

Приурочение Музея именно к Московским Высшим Женским Курсам было впрочем, очень своевременно. В описываемую пору он уже перерос жилую комнатку его создателя и приходилось думать о перенесении коллекции в другие стены.

Был момент, когда переведение Музея в Университет казалось наиболее уместным: гарантировались помещение и средства от Сравнительно-Анатомического Института, при котором протекала вся научная работа пишущего эти строки: — обеспечивалась будущность академической карьеры, открывавшейся лишь сдачей магистерского экзамена, всецело в свою очередь зависевшего от личных отношений аспиранта и профессора-экзаменатора. Но даже более того, имелись опасения, что при отказе приурочить вновь организуемый Музей к означенному Институту (отрицательно смотревшему на совместительство своих работников) — приходилось быть готовым и на разрыв с последним, с Университетом, а самым и с академической карьерой.

Побуждаемый такими мыслями, мучимый колебаниями, автор постучался как-то в кабинет Директора Сравнительно-анатомического Института, собираясь предложить свои единственные два сокровища: и свой Музей, и свою творческую волю...

Но случилось то, что многократно повторялось в жизни пишущего эти строки: мелкая случайность предредила величайшие события. Директора не оказалось у себя. И тут же, у закрытой двери, очевидной стала опрометчивость задуманного плана. Стало ясно, что за трафаретной обеспеченной академической карьерой навсегда погубило бы самое ценное, что существует в жизни: самобытность жизненного строя и свобода индивидуального сознательного творчества.

Это решение — не связывать судьбу Музея с таковою Университета в совершенстве оправдало себя несколько позднее, когда выгнанные Министерством Кассо университетские профессора пристроились на тех же Женских Курсах.

Вряд ли нужно, впрочем, говорить, что на исходе 1908 года никому не думалось о будущем разгроме Университета и решение автора казалось купленным в то время дорогой ценой: прошло немного дней и двери Института, видевшие столько радостей его питомца, пишущего эти строки, навсегда закрылись перед ним.

Однако, справедливость требует отметить, что в означенную пору Курсы целиком уже поглотили все внимание молодого лектора.

Именно в эту пору — (1908-9г.г.) Курсы находились в полосе усиленного роста. Незадолго перед тем строен был Анатомический Театр и его Директор, занятый всецело лекциями для медичек, временно отказывался от обслуживания Естественниц. Курс Анатомии Человека для Естественного Факультета временно был предоставлен пишущему эти строки.

С увлечением когда то занимавшийся в Анатомическом Театре и приватно на своей квартире вскрытием обезьян (и даже сильно пострадавший как-то раз при вскрытии гнилого Павлиана) автор горячо взялся за чтение этого курса, исходя из убеждения в бессмысленности лекций представляющих лишь пересказ анатомических учебников.

В основу курса автор, как сравнительный анатом, взял известнейшие за границей и малоизвестные в России руководства Гегенбауэра, а идеалом метода и формы изложения таковые Видерсгейма, знаменитого фрейбургского анатома и виртуоза дикции и рисования, новатора в академическом преподавании. В основу курса было взято основное методическое правило: описывать только доступное для чертежа, чертить только доступное для воспроизведения студентами во время лекции. Все относившиеся к данной лекции рисунки, чертежи и схемы, несколько десятков из английских и немецких руководств (Герлаха, Герриша, Гегенбауэра) набрасывались накануне лекций на больших листах бумаги. При посредстве меловых прокладок эти заготовленные предварительно рисунки в виде легких, обобщенных абрисов, наносились на большие черные картоны, заменявшие обычные стенные доски. Незаметные для аудитории контуры эти заполнялись разноцветными мелками на глазах у слушательниц, в большей своей части без труда копируя эти чертежи в свои тетради **лишь по мере** выполнения их лектором. Слово и штрих взаимно дополнялись, одновременно ухватывались аудиторией, будили, стимулировали ее активность.

Вместе взятые, работа аудитории и лектора, самая внешность залы, постепенно заполнявшейся досками с цветными чертежами лишь по мере их фактического соиздания, довольно мало походила на обычные дотолы методы преподавания, сводившиеся к описанию невидимых для аудитории деталей или к тыканию саженной палкой по десяткам напечатанных и нарисованных таблиц, развешанных по стенам.

Едва ли нужно говорить, что проработка названного курса лекций в их теоретической и демонстрационной частях (демонстрации на трупах, препаратах, чучелах, скелетах антропоидов, муляжах, слепках ископаемых) позднее очень пригодилась автору при создании антропологического подотдела Дарвиновского Музея. И поныне с благодарным чувством вспоминает автор молодую аудиторию, теснившуюся на его лекциях и знаменитого анатома в далеком Фрейбурге, внушившего ему методику преподавания.

Столь же ярко встает перед глазами пишущего эти строки его лекции по Эволюционному Учению.

Построенный довольно эклективно и компилятивно (как и большинство аналогичных курсов!) по Романесу и Вейсману, курс этот был апофеозом Неодарвинизма: догматически и дедуктивно, в свете крайнего Селекционизма трактовались все главнейшие проблемы Общей Биологии.

Но, разумеется, не эти давние, чужие мысли привлекали Аудиторию. Притягивала внешняя обстановочная часть занятий — длинные столы, уставленные уникальными коллекциями, да, пожалуй, энтузиазм молодого лектора, как прирожденного зоолога и педагога. Да и то сказать, если в приватной жизни Дарвина

и Вейсмана так мало сказывались их теоретические разногласия, то что сказать о сотне русских девушек, собравшихся из разных уголков былой провинции?!

Но и для автора значение читавшегося курса полностью определялось отношением его к Музею. Музеолог и зоолог по рождению, по школе и призванию, автор рисковал заполнить свой Музей сокровищами, ценными лишь для специалиста-орнитолога. Систематическая проработка каждой лекции со стороны сопровождающей демонстрации, с учетом ограниченности времени, размеров зала, численности посетителей, объема их внимания, — обеспечило за содержанием коллекций ту логическую соразмерность и ту внутреннюю связь, наличие которой станет характерным свойством Дарвиновского Музея.

По прошествии двух лет (1907 — 1909) коллекции Музея разрослись настолько, что едва упрятавались в небольшой биологической комнате Зоологической Лаборатории на Женских Курсах. Раз в неделю, да и то частично, содержание шкафов развешивалось в смежной зале на немногие часы, на время лекций, а по окончании последних снова исчезало в небольшой комнате: посвященное конкретной иллюстрации проблемы эволюции коллекции Музея проходили периодические фазы инволюции и эволюции.

Раскрыть и развернуть одновременно и полностью все содержание Музея удалось только однажды, в дни XII-го Съезда Естествоиспытателей и Врачей. Знакома членов Съезда с постановкой своего преподавания, Женские курсы с гордостью могли сослаться именно на постановку Зоологии и демонстрируя методику своих работ, Комиссия преподавателей-зоологов с Н.К.Кольцовым во главе сочла небесполезным показать и собранные автором коллекции по Общей Биологии объединенные под именем «Дарвиновского Музея.»

В светлой, двухсторонне освещенной зале, на столах, составленных вдоль стен и средней коллонады, разместились результаты двухгодичных сборов, методически объединяясь по отдельным главам эволюционного учения: Изменчивость географическая, возрастная, персональная, приспособления, Зоогеография, Окраска покровительственная Мимикрия, Менделизм, Ламаркизм и Ортогенез, Происхождение Человека.. таковы главнейшие проблемы и теории, определившие подбор и план расположения объектов.

Словно мысленно предвосхищая свои будущие залы, с увлечением трудился автор над устройством своей «Выставки» позволившей впервые сделать «Смотр» собранному материалу. К сожалению, немногие зоологи (как напр. профессор Зограф и проф. Фаусек) оценившие подбор и содержание коллекции, не в силах были сгладить впечатления общего к ней равнодушия.

Тем радостнее было получить привет издалека.

В ответ на посланные фотографии коллекции откликнулся «Немецкий Дарвин». С горечью переживавший о ту пору предзакатную академическую драму — свой разрыв с основанным им Филетическим Музеем и своим, преемник Эрнст Геккель не замедлил все же отозваться дружеским приветом. С гордостью и радостью прочел былой поклонник величайшего ученого характерную пару строк, написанных дрожащей старческой рукой: *Zoolog, Laborator d.Prauen- Ochscheule in Moskau Povarskaja 8. «Herzlichen Dank für die schönen Photogramme Ihres Zoologischen Museum!» — Ernst Haeckel (Ordinis Primatum).*

Скромная карточка-открытка, совершившая свой путь из славной Иены в неизвестный переулок в Москве, явилась основанием грядущей связи Дарвиновского музея с зарубежными учеными и как бы символом той нравственной поддержки и того признания, которые Музей найдет впоследствии у них.

Однако, в разбираемую пору несколько иные связи с границей обращали на себя внимание автора: все возрастающая его переписка с иностранными зоологическими фирмами для получения музейных, экзотических по преимуществу объектов.

Длинной чередой проходят в памяти названия былых поставщиков Музея: Schlüter, Umlauff, Rosenberg, Linnäa, Böttcher, Fritsehe, Friê, Deyrolle.. и кипы писем, просьб, запросов, длинных перечней и списков предложений и заказов, направляющихся в Германию и Англию. А сколько ожиданий, радости и разочарований приносилось в свою очередь оттуда! Редкая неделя обходилась без посылок, редкий день не приносил конвертов с иностранной маркой и знакомым штампом или почерком определенной фирмы, редкий час — без новых планов о дальнейших пополнениях Музея. Как в одном из замечательных рассказов Чехова, несчастной героине снились только яблоки и груши, так счастливому создателю Музея снились о ту пору только экзотические бабочки и птицы!

Эти сотни писем, как невидимые нити связывали маленькую комнатку на Поварской с десятками импортных фирм Берлина, Галле, Лейпцига, Парижа, Гамбурга и Лондона, а через них с десятками и сотнями коллекторов, рассеянных по всем частям земного шара: от полярной тундры, гор и джунглей Азии до девственных лесов Бразилии и Африки.

Холодная сухая осень. 1909-й год. 9-ое Октября. В квартиру автора внезапно входит старший сослуживец и бывлой товарищ по поездке в Азию — приват-доцент (позднее академик) Сушкин, говоря: «Я прихожу к Вам, с горестною вестью: умер Лоренц!»

Молнией сверкнула мысль, что случилось что-то навсегда непоправимое, что повернулась новая страница жизни...

Вне себя и все еще как будто сомневаясь автор бросился к столь дорогому дому, чтобы поклониться над недвижимым телом своего учителя и друга.

Смерть внезапно захватила Федора Карловича за его любимым делом. Еще полный сил и горячего желания работать, юношески бодрый, не смотря на свой 67-летний возраст, он умер от припадка грудной жабы, и прервалась плодотворная, единственная в своем роде жизнь художника-натуралиста.

Как в тумане, и сквозь слезы, застилавшие глаза, прошли ближайшие за смертью дни. Но завершились и они. Заглох последний звук удара брошенной земли, замолкло надмогильное, тоскою сдавленное слово.

И однако, как и в природе, так любовно и проникновенно поднимавшейся покойным, жизнь и смерть сменяются с их вечной чередой, так и за смертью старого учителя и друга развернулась новая страница жизни для его ученика.

И в самом деле. Предстояло разрешение вопроса, неотложного и для семьи покойного, и для рабочих, служащих, и для друзей биологов и музеологов: вопроса о судьбе его духовного наследия.

Оно слагалось из тройкого источника:

Имелись уникальные коллекции-итоги многолетних сборов. Имелась широчайшая, годами установленная связь с охотниками и коллекторами самых удаленных уголках России.

Имелся замечательный, годами слаженный подбор искусных препараторов, издавна обеспечивших за фирмой европейскую известность.

И мучительно вставал вопрос: как уберечь это тройкое наследие тройного дарования Лоренца, как чело-века, как художника и как ученого? Как сохранить за Дарвиновским Музеем основной, исконный и неиссякаемый источник пополнения?

При неимении необходимых средств (требовались тысячи...) и при отсутствии прямых преемников для руководства фирмой (требовалось редкое сочетание знаний зоолога и препаратора...) не оставалось ничего другого, как приняться самому за дело, временно пожертвовать наукой для развития Музея, променяв врожденное призвание ученого на роль руководителя научно-художественной мастерской.

Осенью 1909г. состоялось приглашение пишущего эти строки к общему коммерческому и научному заведованию фирмой Лоренц на условиях, что причитающееся за службу жалование будет выплачиваться лишь натурой — чучелами — и что мастерская будет продолжать работать на Музей по льготной и пониженной расценке.

Это неожиданное применение полученного с детских лет практического опыта в препаровальном деле ради сохранения фирмы Лоренца и косвенно ради развития Музея оказалось поворотным пунктом для развития последнего.

В течение немногих лет — в три года — без затраты денег удалось приобрести неоценимое научное наследие покойного натуралиста сотни замечательных зверей и птиц из личных сборов Лоренца, как и за счет

охотничьих трофеев, присылавшихся ему со всех концов России. Крайне ценной оказалась также связь с обширной сетью препараторов-охотников, издавна поставлявших Лоренцу зоологические материалы. Еще более существенным явилось регулярное использование препараторского персонала фирмы и особенно факт привлечения к музейной деятельности самого главного сотрудника покойного натуралиста-препаратора Ф.Е. Федулова.

Но все эти успехи, приобретения и связи, — покупались дорогой ценой.

Все время, остававшееся от курсовых занятий, приходилось безотлучно, круглый год, зиму и лето проводить за магазинными прилавками, заставленными чучелами и коврами из звериных шкур, в удушливом и спертом воздухе, пропитанном парами мышьяковистых растворов (применяемых для отравления препаратов в целях их предохранения от моли..), среди смрада от вываривания звериных черепов или ободраных звериных трупов.

Несравненно тягостнее, впрочем, чем физические внешние условия дежурства в магазине, был бездушный угнетающий характер лично выполнявшихся работ: ведение конторских записей, отправка сделанных заказов, выправление квитанций, накладных, прием заказов и особенно общение со спортсменами-заказчиками из «привилегированной» охотничьей среды, выслушивание их глупейших требований, а порой и выговоров за неделанный во время заказ.

Как в знаменитой повести американского писателя, смогли на время поменяться «Принц» и «Нищий», — так и пишущему эти строки, с завистью смотревшему когда то на зоологическое царство Лоренца, дана была возможность воплотиться временно в призвание своего учителя.

Роль робкого эпизодического гостя, с вождением взиравшего на недоступные естественно-научные сокровища, сменилась таковой хозяина-распорядителя и сотни уникальных ценностей стали доступными для автора. Можно уверенно сказать, что трехгодичное заведование фирмой Лоренца за плату «чучелами» превратило скромную учебную коллекцию в доподлинный Музей: трехлетнее перевоплощение ученого в предпринимателя и «коммерсанта» обеспечило создание Дарвиновского Музея. Но увы! как у героя Марка Твена, перевоплощение автора давалось не легко!

Замкнувшись в деревянном домике, напротив Курсов, променяв свои зоологические книги на другие — счетоводные, а микроскоп и лупу — на копировальную машину, окруженный трупами зверей и птиц и еще более бездушными клиентами, бывший поклонник Лоренцева дела личным опытом мог оценить всю неприглядность оборотной стороны его. И в той же мере, как ценнейшие коллекции из помещения покойного натуралиста перекачивались в расположенный насупротив Музей, — в такой же мере таяли и гасли силы автора для творческой, идейной жизни.

Летняя, пыльная, душная Москва.. Сидишь за глухо замурованными стенами — (во избежание покражи окна магазина Лоренца не открывались даже летом)... Справа, слева, перед, над и под собою, под ногами и над головой — изделия мастерской: ковры звериные, лосиные, медвежьи, волчьи лисьи головы, бесчисленные чучела зверей и птиц..

Медведь в услужливой банальной позе с лампой в лапах освещает столик для принятия заказов. Чучело павлина над столом. Сидишь и в сотый раз копируешь бесчисленные накладные и квитанции заказов, а глаза нет-нет и скидываешь на смарагдово-пурпурный шлейф павлина. Обращенный к подневольному конторщику, он говорит о величайшей тайне — генезисе красоты в природе... Словно зачарованный сидишь и созерцаешь этот изумительный орнамент мысленно сопоставляешь объяснения Паули и Дарвина..

Звонок парадной двери и внезапно тень великого натуралиста заменяется — увы! — конкретной и живой личностью заказчика, а медитации о «красоте природы» заверениями в исправном выполнении заказа, обещанием, что, по желанию заказчицы, звериной голове горжетки или коврика дано будет сердитое и «злое» выражение (для оттенения кротости лица владелицы?). Прием окончился. С поклоном провожаешь до дверей живую пошлость и опять и снова погружаешься в шарманку жизни, прерываемый симфонией павлиньего глазка. И сотни восхищенных глаз, смотрящих ныне на коллекцию павлинов Дарвиновского Музея не догадываются о той моральной муке, что когда-то обеспечила их приобретение.

Как отравленный, телесно и психически, от смрада трупов и от пошлости людской, спешишь из мастерской на Курсы, но и там не находя опоры и признания: в роли «Помощника преподавателя», без видов на академическое будущее.

Разделенные одной лишь улицей, лежащие напротив два подъезда, магазина Лоренца и Курсов, словно два враждебных берега попеременно привлекали и отталкивали автора: там — полновластие над безидейной жизнью, здесь бесправие идейного работника. Ни там, ни здесь. Как злополучная тургеневская героиня: «Вечно от одного берега к другому и ни к которому не хочется пристать».

Так проходили месяцы и годы, и чем далее, тем все острее, безысходнее разлад души, антимония жизни и призвания. И все труднее становилось плыть, гребя зараз обеими руками. И была минута и, казалось, что гонимого от берега к другому волны жизни угрожают окончательно прибить к более низкому, спокойному из них. Как вдруг нахлынувшая новая волна внезапно подхватила одинокого плавца и мощным гребнем навсегда отбросила его к другому берегу, высокому и зыбкому, горному берегу идейной жизни.

«Помнишь тот вечер далекий, комнатку ту курсовую,
Темные книги по стенам, жуткую тишь гробовую,
Траур твоих одеяний, косы венцом золотые,
Тихое лампы мерцанье, грусти мечты молодые?»

Помнишь, как сидя напротив, взор устремив пред собою,
Слушала ты молчаливо исповедь жизни с тоскою,
Жизни в пустыне живущей, жизни не знавшей привета,
Жизни так долго зовущей, не находившей ответа?

Жизни с далекого детства, юности бурной, мятежной
Отданной светлой науке чистой, высокой, безбрежной.
Жизни, не знающей жизни — жизни не знающей тлена,
Но никогда с укоризной не преклонявшей колена...

Помнишь как голос умолк мой, словно струна обрывалась,
Ниже и ниже головка к сердцу с вопросом склонялась,
Рока грядущего крылья чудились мне за тобою,
Словно нам путь указавшего твердой своею рукою
В комнатке той позабытой, комнате той молчаливой,
В час нарастающей тревоги, встречи с тобой торопливой»...

Жизнь торопила... В жизненный челнок, «волнуясь и спеша» вошла нежданно молодая спутница, но оставалось то же направление пути: не к тихой пристани, но к бурной цели, маяку Музея.

С умилением вспоминаются доселе первые этапы этого совместного пути.

Первый подарок жениха невесте: Белый Ястреб, купленный на место ею ожидаемых карманных часиков.

Презент невесты жениху: чучело львенка за 8 рублей.

Приданое невесты: черный волк и белый волк — два чучела, сплоченные суммой, предназначенной для устройства будущего «хором».

В итоге: превосходные два экспоната в переполненном Музее и полупустые комнаты у новобрачных.

Свадебный подарок фирмы Лоренц: чучело волка, поступившее в Музей...

Канун венчания: Троицын День. Теплый и тихий майский вечер. Старый сад. Раскрытое окно. Облитые луною купы ив и спящий пруд и дремлющие лебеди... Большая светом залитая комната. Все бело — стены, стулья и столы. У одного из них жених с невестой, наклоненные над трупом Антилопы....

Узница московского Зоологического Сада, стройное дитя пустыни, африканская Газель погибла накануне. За отказом препараторов работать в праздничное время; молодой чете пришлось самой пройти в Лабораторию для снятия золотистой шкурки и непоэтичной операцией над поэтическим созданием заполнить поэтичный вечер молодой четы..

А «свадебное путешествие!» Поездка на Ветлужские Учительские Курсы с целым ящиком коллекций..

Шторм на Волге и авария на отмелях Ветлуги, и недоедание в кредит, и.... переполненная аудитория! Достойная прелюдия последующих трех десятилетий..

Но о жизненных авариях и штормах, о трудах и жертвах, что стояли за созданием Музея не догадывались ни Ветлуга, ни Москва.

И в самом деле. Стоит лишь из захолустного Поволжья мысленно перенестись в тогдашнюю столицу, взглянуть в одну из аудиторий Высших Женских Курсов.

Накануне лекций по Эволюционному Учению десятки, а порой и сотни препаратов извлекались из шкафов, расставленных по стенам залы: чучела, скелеты, насекомые, таблицы и портреты выдающихся ученых, выносились в аудиторию и расставлялись на особых раздвижных столах в порядке, предусмотренном значением и ролью каждого отдельного объекта. Хлопотливая и длительная эта подготовка залы накануне лекции затягивалась часто далеко за полночь, но всегда производилась любящей рукой...

И это чувствовалось аудиторией, тепло встречавшей молодого лектора, стекавшейся, движимая лишь интересом к лекции. Внесенный в общую программу Физико-математического факультета и оплачиваемый, как таковой, курс этот числился «Необязательным» и в этой несомненно заключалось важное его достоинство. Неисправимый ригорист, автор тогда, как и теперь, считает величайшей нелепостью обязывать людей, считающихся взрослыми, к исканию научной истины. Можно и должно стимулировать подобное искание посредством слова, книги, жизненного опыта. Насильственно навязывать искание научной истины там, где отсутствует потребность в ней, столь же разумно, как напаивать людей не чувствующих жажды. При наличии аппаратуры и «недоброй» воли можно попытаться напоить насильственно таких людей и не в пример собаке или лошади «нежаждущие» люди будут притворяться ими.. Но, конечно, лишь желающие быть обманутыми могут не понять бездонности такого лицемерия... И в этом смысле автор с удовлетворением припоминает годы лекционной своей деятельности на Высших Женских Курсах, протекавшей в обстановке полной факультативности для аудитории.

И общий вид, картина аудитории после тогдашних лекций, закрепленные фотографом, нагляднее, чем слово, говорят не об одной лишь внешне-обстановочной их стороне....

Но разместившаяся так интимно с леопардами, волками, молодая аудитория ни мало не догадывалась о цене, которой покупалось это необычное соседство. И напротив, хорошо об этом знали люди неакадемического мира: дровяник, кредитовавший топливо, пятирублевую полсажень в месяц; — молодой газетчик, некогда стоявший на углу Молчановки и с белорусской готовностью ссужавший гривенники на покупку булок... Но конечно всего более старушка-няня, ведшая несложное хозяйство непрактической четы...

Увы! финансово-экономические планы и ресурсы Марии Федоровны не внушала оптимизма. «Хуж бы разик что на улице найти!» не уставала жаловаться бедная старушка — «Ведь находят же другие.. Мало ли роняют! Уж на что смотри! глаза все проглядела — ничего не нахожу!»

А между тем, пока в заботе о бюджете и хозяйстве бойкие глаза старушки тщетно рыскали по тротуарам, в адрес Курсов, на последние рубли недостающих хозяев прибывали новые посылки райских птиц и прочих чужеземных редкостей. Именно в эту пору было приобретено не мало ценного, и это несмотря на то, что в разбираемую пору материальные источники для их оплаты сильно поубавились.

Было оставлено заведование фирмой Лоренца и одновременно оставил службу в ней самый талантливый из мастеров ее — Филипп Евтихевич **Федулов**, чтобы целиком отдаться для работ Музея за оплату их из личных заработков автора. Едва хватавших для покрытия лишь основных расходов, этих денежных ресурсов было совершенно недостаточно для экстренных и капитальных приобретений.

Одно из них являлось издавна предметом вождления: выписки из-за границы, чучела Гориллы, столь необходимой для главы Музея, посвященной эволюции Приматов.

К доводам научным присоединялись и тактические: смутная надежда, что наличие столь импозантного объекта облегчит, ускорит получение на Курсах замкнутого помещения для самого Музея.

Предстояла не совсем обычная задача: раздобыть Гориллу, не имея денег, оплатить ее и с помощью гориллы, пользуясь ею, как тараном, добиваться обособленного места для Музея.

Относительно нетрудно было выполнение первой части этого намеченного плана.

При давнишних связях с заграничными поставщиками, на разосланные циркулярные запросы иностранным фирмам, автором в короткий срок было получено с полдюжины различных предложений. Разные по стоимости, по сохранности, размерам и по степени их демоничности, гориллы Лондона, Берлина, Галле, Гамбурга и Лейпцига напереерыв друг другу предлагали свою помощь для отвоевания скромного местечка для Музея в Мерзляковском переулке.

При немалой разнице в цене — от двух до шести тысяч рублей золотом — решающим являлась стоимость объекта. Выбор пал на парочку горилл в три тысячи рублей, предложенную фирмой Шлютер в Галле.

Телеграфно закрепив покупку за собою, приходилось думать о второй, более сложной операции: финансовой. Ввиду значительности суммы приходилось обращаться к помощи извне. Увы! ближайшие попытки, обращения к московским меценатам, оказались безуспешны: у сочувствующих Дарвину и Курсам не хватало денег, обладатели последних не симпатизировали обезьянам. Были и такие, что сочувствуя и Дарвину и обезьянам, не сочувствовали женскому образованию. Приходилось поступиться антипатией своей к гнилому, мглистому и чопорному городу и все же постучаться к «Северной Пальмире».

Заручившись нужными рекомендациями, автор осенью 12-го года очутился на приеме у одной из видных о ту пору деятельниц в Петербурге, чтобы под суровым полчасовым допросом отстоять идею своего Музея и оправданность просимых денег.

Подготовленный в Москве этот успех наглядно показал, однако, всю неблагодарность роли частного просящего о деле, связанном идейно, персонально, а не юридически с общественным упреждением.

И это обстоятельство тогда же вынудило автора задуматься о будущности своего Музея и о нежелательности сохранения его и впредь как частной собственности одного лица.

Сознание, что богатейшие коллекции Музея, созданного при содействии Московских Высших Женских Курсов, будут некогда закреплены за ними, разделялось, видимо, и курсовой администрацией.

К означенному времени Курсами закончена была постройка здания-дворца (ныне здания Педагогического института) на Девичьем Поле и с переводением в новое здание целого ряда курсовых организаций открывались новые возможности для размещения Музея.

Осенью 12-го года под коллекции последнего отведена была одна из половин обширной аудитории, та самая, где в продолжении долгих лет, забравших в отдаленный угол, в перерывах от занятий, автор так настойчиво мечтал о будущем своем музее.

Правда, что заставленная до непроходимости, означенная площадь обеспечивала лишь приют Музея, как учебно-вспомогательного аппарата. Но как таковой он еще более возрос в своем значении для слушательниц Курсов. Можно сомневаться, что где-либо еще в Европе лекции по эволюционному учению читались в столь наглядной форме как в уютной, прилегающей к Музею аудитории Московских Высших Женских Курсов.

И однако, не одно лишь совершенство препаратов привлекало интерес к Музею. Очень ценным оказалось также привлечение к работам для Музея столь известного впоследствии художника-анималиста-скульптора **Ватагина**.

Знакомый автору еще по школьной, гимназической скамье, по классу рисования у художника Н.А. Мартынова, — тогда уже обращавший на себя внимание верностью руки и глаза, — **В. Ватагин** к разбираемому времени известен был в академических кругах, как автор серии таблиц по Зоогеографии, написанных по поручению профессора Мензбира.

Успев по окончании Университета дважды съездить за границу, молодой художник вывез из своих поездок сотни зарисовок, сделанных с натуры по зоологическим садам и паркам Западной Европы.

Помнится, как тридцать с лишним лет тому назад, в один из зимних вечеров, на Курсах, кто-то из коллег-зоологов попутно сообщил о возвращении в Москву Ватагина с его рисунками.

Брошенная мальком эта весть всецело захватила автора, решившего немедленно по окончании занятий, несмотря на поздний час, пройти к художнику и ознакомиться с его работами.

С трудом лишь удалось найти Ватагина в его тогдашней небольшой квартирке на Волхонке.

Захолустье в центре города. Отрезанный от шума улиц каменной грядой домов, глухой глубокий дворик. Ветхий старомодный домик с деревянной лестницей. Клеенчатая дверь и архаический звонок: веревочка пропущенная через дверь с брусочком на конце.

Потянешь за бичевку и не сразу, словно жалуясь на посетителя, меланхолично прозвучит «верблюжий» — колокольчик, некогда сопровождавший караван пустыни... Низенькая комната с заиндевевшими оконцами и керосиновая лампа над сверкающими красками тропических животных уроженцев света, зноя и простора...

Но не чувство красок, — чувство линии и формы — вот что поражало в даровании Ватагина.

Скупые лаконичные, стремительные карандаш и кисть немногими чертами, пятнами, мазками настигали на ходу самые быстрые и мимолетные движения..

Но не быстрота письма — увы! бледнеющая ныне в век кино, — другое свойство, недоступное Кино, было и есть самое ценное в таланте нашего художника: его способность проникаться в скорбный юмор и трагический гротеск звериной психики. И всего ярче выражалась она в передаче поз, движения и мимики самых причудливых созданий — группы обезьян. Шептавшие попеременно то о нашей связи с ними, то о бездне нас разделяющей, — создания эти, в их изображении Ватагиным, еще настойчивее говорили об огромной роли дарования его для целей и задач Музея...

И с любовью и с восторгом отбирая серии этюдов для Музея пишущему эти строки, да и самому художнику не думалось, что в этот вечер полагалось основание тридцатилетней связи гости и хозяина.

Но неизвестным оставалось для гостеприимного хозяина-художника то, как по прощании с ним и направляясь к дому, поздний его гость и горе-меценат, бредя по занесенным снегом улицам, мучительно обдумывал ресурсы для оплаты сделанных заказов.

Непредвиденный расход — в несколько сот рублей — при твердости бюджета автора, бюджета уже заранее распределенного для срочных платежей Музея, требовал мобилизации резервов. Но каких? Продажи частным диллетантам-богачам менее ценных партий собранных коллекций? Продажи личной библиотеки, сколоченной на деньги от уроков иностранных языков в студенческие годы? или Микроскопа, давнего подарка бабушки?

Едва ли нужно говорить, что в ходе финансирования Музея постепенно были проданы и микроскоп, и книги, и значительная часть коллекций...

Как сквозь сон припоминаются сейчас все эти так легко и незаметно приносившиеся жертвы..

Но припоминается порою и другое. Как в критические, скорбные мгновения жизни Дарвиновского Музея, много позже, люди, не имевшие понятия о его прошлом, о его истории, скользя глазами по его сокровищам небрежно, снисходительно роняли фразу: «Сделано все это ведь Ватагиным!»

И грустно снисходительно хотелось молвить: «Да, Ватагиным, среди других то более, то менее талантливых и преданных Музею лиц...»

Но все они имели пребывание в Москве, задолго до создания Музея. И десяткам учреждений хорошо известны были имена всех этих лиц и уникальные их дарования... И, однако, только пишущему эти строки выпало на долю отыскать для них идейную и материальную связующую нить, плетя ее день за день, — тридцать лет, на прялке личной своей жизни и... ценою сердца своего...

К исходу 1912 года окончательно определился небольшой состав сотрудников Музея, та исконная его «четверка»? силами которой исподволь и незаметно создавалось будущее государственное учреждение: Препаратор, скульптор-живописец, автор этих строк и его верная помощница, самая главная впоследствии научная работница Музея.

И оглядываясь на итоги первых пяти лет строительства Музея мысленно невольно хочется спросить себя: что если в разбираемую пору творчеству Музея отвечали бы и внешние условия, моральная и материальная поддержка общества? Как быстро и легко могло быть создано большое, новое и нужное общеобразовательное учреждение!

На деле эти внешние условия Музея были мало благодарны: — пространственно, поскольку в переполненном до нельзя помещении не оставалось места новым экспонатам, материально — вследствие растущих трудностей оплачивать музейные расходы из одиночных заработков автора, идейно — из-за полнейшего равнодушия к Музею большинства преподавателей тогдашних Курсов и из-за полной неизвестности его в академических кругах и в массе «образованного» общества.

И снова, как то уже было раньше (и все чаще будет повторяться в будущем) признание Дарвиновского Музея и на этот раз пришло издалека.

Именно в эту пору пишущему эти строки удалось содействовать участию Ватагина в одном научном начинании, считавшимся дотоле национальной гордостью Германии: в новом издании известного иллюстрированного сочинения Брэма: «Жизнь животных».

Полагая, что изображения млекопитающих России следует доверить русскому художнику, Издательство (Библиографический Институт в Лейпциге) и автор соответствующих томов, профессор Людвиг Гекк (Prof. Dr. Ludwig Heck) директор знаменитого Берлинского Зоологического Сада, обратился за советом к бывшему директору Зоологического Музея Академии Наук, Ф.Д.Плеске, а последний — к пишущему эти строки, чтобы услышать впервые о Ватагине, как замечательном художнике-анималисте.

Убедившись по немногим посланным в Берлин наброскам в исключительных талантах нашего художника, профессор Гекк, сам лично посетил Москву, чтобы на месте сговориться об участии Ватагина в классическом издании.

Впервые скромная квартирка нашего художника могла раскрыть перед глазами иностранного ученого свои сокровища — звериные скульптуры, живописные наброски и эскизы, и впервые Дарвиновский Музей смог показать свой пятилетний труд авторитетному и беспристрастному ценителю.

И отзыв данный выдающимся организатором-ученым и художником-писателем о Дарвиновском Музее с благодарным чувством вспоминается доселе автором:

«Ihr Museum Darwinianum ist ein bewunderungswürdiges Werk, zumal wenn man bedenkt, dass es eine Schöpfung aus den Kräften und Mitteln eines Einzelnen ist; ich wüsste ihm hier, in Deutschland Nichts an die Seite zu setzen.»

«Ваш Дарвиновский Музей — достойное удивления творение, особенно если учесть, что оно является созданием сил и средств единого лица: ничего равного ему здесь, в Германии, я не смог бы указать?..»

Эти короткие три строчки были призваны неоднократно вызволять Музей в тяжелые минуты.

Приходилось ли бороться за предоставление стен, отстаивать бюджет спасать сотрудников от воинских призывов, ратовать за получение коллекций или отводить наивные и злостные наветы в том, что «Дарвиновским» Музей стал только после Революции и лишь в угоду большевистской власти — приведенные три строчки неизменно и всегда имелись наготове, как авторитетный, непредвзятый отзыв крупного ученого и методиста мирового ранга.

Между тем, уже в ту пору, в 1913 году, Музей настолько перерос себя, как частное, любительское начинание, что самый факт единоличного владения им все тягостнее чувствовался основателем его.

Это сознание, что учреждение, назначенное для широкого служения обществу, не может оставаться собственностью одного лица, сознание это побудило выполнить давно назревшее решение: пожертвовать Музей Московским Высшим Женским Курсам на условиях, могущих обеспечить надлежащее его развитие.

Сознавая внешнее, индифферентное отношение к Музею большинства преподавателей тогдашних Курсов и желая обеспечить пополнение его коллекций на ближайшие, по крайней мере, годы жертвователем было оговорено, что основная часть Музея с номинальной стоимостью в 15.000 (фактически же непереводаемая

на деньги, ибо содержащая десятки лет...) передается безвозмездно Курсам на условии, что Курсы доставляют помещение, оплачивают препаратора (Сто рублей в месяц), отпускают ежегодно небольшую сумму на текущие расходы по Музею, наконец оплачивают при рассрочке на три года приобретенные за границей новые коллекции на сумму до 10.000 рублей.

Было также оговорено пожизненное заведование Музеем основателем его, (а после его смерти сосоздательницей его Н.Н. Котс) при чем ни о каком вознаграждении за этот труд заведования музеем, после передачи его Курсам, не упоминалось.

Справедливость требует отметить, что за пять лет пребывания Музея собственностью Женских Курсов, не смотря на возрастающую сложность по заведыванию Музеем, побуждавшую его создателя отказываться от многих платных должностей, Администрацией ни разу не был возбужден вопрос о гонорировании этого труда.

Это использование курсами большого и бесплатного труда отчасти объяснялось его внешней неприметностью. К описанному времени, к моменту передачи Курсам, Дарвиновский Музей, как целое и замкнутое учреждение прекратил свое существование. С трудом и с боем завоеванные стены приходилось снова бросить и виною этого вторичного закрытия и распыления Музея оказалось не людское равнодушие, но мертвая стихия.

Старое и ветхое, до нельзя переполненное и жильцами, и лабораториями, вечно угрожаемое изнутри (огнями инкубаторов и термостатов) и снаружи (легкомысленным соседством одного театра) помещение Курсов в Мерзляковском переулке представляло постоянную опасность в отношении пожара. С незавидной регулярностью оно горело раз в два года. Жуткая картина одного из этих «курсовых» пожаров на всю жизнь сохранилась в памяти у пишущего эти строки.

Ясный, тихий и морозный день. Смеркалось. Окруженный на дому своими книгами и атласами автор занят был подготовлением к ближайшей лекции. Особое движение на улице невольно обратило на себя его внимание. Как набатный гул все громче, все грознее доносились слухи, что горит по близости... Еще немного и тревожное известие: «Пожар на Высших Женских Курсах!» охватило население Москвы.

Пять тысяч молодых сердец забились в страхе и тревоге о Московском Женском Университете, о его судьбе, а сердце пишущего эти строки.. оно сжалось, замерло.. С застывшим сердцем в ледяной мороз он бросился по направлению зарева. «Все кончено!» раздался голос встречного товарища-ботаника. Еще минута и запруженная лошадьми, обозами и толпами народа площадь преградила путь.

Объятый пламенем, огромный четырехэтажный корпус был оцеплен и бесцельны были все мольбы о пропуске. Да и к чему? «Убитые на смерть не мечутся!» — мог бы сказать в эти минуты автор.

Охватившее полнеба зарево сменило ночь на день, зловеще рдея на пожарных касках и на упряжке обозных лошадей. Новые свежие части с грохотом и звоном прибывали отовсюду. «Пятницкая!» «Якиманская!» «Замоскоречье!» слышались в толпе уверенные голоса отдельных знатоков, по масти узнававших принадлежность лошадей к определенной «Части». Раздавались и другие возгласы: «Ну, парень, уж и подвезло же нам сегодня!» ликовал один из зрителей. «Что твой театр! Экое счастье!»

Вся бездонная звериная — нет, человеческая черствость, жестокость грубая, тупая жадность зрелища, весь безграничный эгоизм человеческой природы хлынули из этих слов...

Не в силах будучи стоять в ликующей толпе, сжимаясь от душевной муки, автор направляясь к дому по Никитскому бульвару, еще раз заглянул на место зарождения и гибели Музея.

Отделенное лишь низкими домами, грозно-величаво развернулась перед ним пылающее, здание. По разрушении полов двух верхних этажей, с пустыми амбразурами окон, оно предстало в виде огненного кратера, пылающим изнутри гигантским Колизеем.

Долго всматривался автор в грозную игру огня, снова и снова пересчитывая окна длинного фасада, мысленно восстанавливая те, где зародилось и где так бессмысленно погибло все его призвание, все достижения последних лет.

Но так ли? Точно ли оно являлось невозстановимым?

Медленно перебираясь к дому, за душевным холодом не замечая жгучего мороза уже мысленно нащупывал пути и средства для восстановления утраты и для воссоздания Музея, если бы то оказалось нужным...

Поздно вечером, в то время как сам автор спешно и мучительно планировал возможности воссоздания Музея, неожиданно пришло известие, что уничтожив половину здания и часть лаборатории, огненный поток остановился у брандмауэра, не давшего проникнуть пламени в Зоологический Отдел.

Вскрывая лишней раз психологическую обусловленность, психическую установку (*Seelische Einstellung*) всех наших восприятий и суждений (брошенной «про дома суа» фразы встречного ботаника: «Все конечно!» было достаточно, что затмить у автора элементарный счет окон и просчитаться... на этаж!!) — описанный пожар ускорил передачу Дарвиновского Музея Женским Курсам; было ясно, что и после удаления ненавистного театра, пребывание Музея на его тогдашней территории не устраняло бы угрозы для его сохранности. И вспоминая иногда этот кошмарный вечер, кажется, что никакая сила не смогла поколебать решимость автора осуществить Музей во что бы ни стало, вопреки не только равнодушию людей, но и стихийным бедствиям.

И все же равнодушие людей не уступало равнодушию стихии, субъективно же воспринималось еще более мучительно.

Весною 1913 года состоялась передача Дарвиновского Музея Женским Курсам и переводение коллекции на Девичье Поле, в Аудиторный Корпус.

За отсутствием свободной залы, говоря точнее, за несклонностью тогдашней курсовой администрации дать таковую, — перевод Музея равнозначен был его уничтожению, как целого. Довольствоваться приходилось распылением шкафов по полутемным корридорам по различным этажам и здесь же, в корридорах, среди шума и движения, приходилось долгие годы вести занятия по демонстрации Музея.

Это вынужденное распадение Музея побудило автора решиться на попытку обращения к Обществу и в частности к тому лицу, имя которого сулило наибольшую удачу.

В 1913 году Женские Курсы получили крупное пожертвование в 80.000 рублей от хорошо известного тогда благотворителя Н. Шахова на возведение здания Судебной Медицины для профессора П.А. Минакова, призом министерства Кассо удаленного из Университета, незадолго перед тем.

И полагая, что лицо, так щедро поддерживавшее науку о познании смерти еще более тепло и чутко отзовется на познание, жизни, автор, созвонившись предварительно по телефону, очутился в одно утро у калитки Шаховского дома.

Тихий дворик с деревянными мостиками, огибающими, низкий, уходящий в землю дом. С трудом преодолев волнение, автор позвонил у архаичного крылечка и минутой позже увидел себя в миниатюрной комнатке с квадратными оконцами, досчатым, крашенным олифой полом и потертой старой мебелью. Забытой, старой, умирающей Москвой повеяло от старосветских стен и старомодного убранства комнаты.. И было странно в этой обстановке Писемского и Островского готовиться к призыву о поддержке Дарвина... С какой надеждой на успех? Что представлял собой хозяин дома? «Либерал», с огромным состоянием, сторонник женского образования и «Автономии» Высшей Школы, Шахов, в отношении своем к науке, к эволюционному учению и Дарвинизму — представлял фигуру неизвестную. Известно было сочинение брата, Александра Шахова о Гете и за неимением других опорных точек приходилось по неволе обратиться за поддержкой к Вейсмарскому мудрецу.

Но появился и хозяин дома: грузная фигура Шахова, уверенного знатока людей, умевшего, как говорили, безошибочно распознавать из сотен обрашавшихся к нему за помощью доподлинно нуждающихся в ней.

Беглыми, яркими штрихами попытался автор оправдать причины своего прихода, сущность и пути, и цели своего идейного создания. Говорил о приобщении масс к реалистическому, позитивному мировоззрению, говорил о Гете и о Дарвине, о примирении их взглядов на природу и на человека, говорил о той уверенности, что дается людям этим позитивным и реальным Гетевским подходом к жизни для ее активного и творческого претворения...

Горячо, правдиво, искренно было рассказано и об истории музея, его скорбном мартирологе, его вторичном, вынужденном распылении.. Закончил автор обращением к Шахову горячей просьбой: «дать стены

Дарвиновскому Музею».. «Те же средства, что Вы дали для постройки здания Судебной Медицины, на познание кошмаров смерти, вложенные в стены Дарвиновского Музея, приобщат миллионы ищущих к познанию жизни и ее гармонии и красоты!» «Я не прошу у Вас сейчас определенного решения, но обещайте выехать и дайте мне возможность показать Вам дело моей жизни и мои сокровища, стучащиеся в стены, в души и сердца людей!»

Внимательно и терпеливо выслушал восторженного посетителя хозяин дома. — «Я подумаю..» сказал он при прощании.

Но в раздумье уходил от Шахова и автор. Тяжело и горько было на душе его. Как злополучному герою в Чеховском рассказе думалось и автору что вот «еще бы два-три хороших, сильных штриха... и ему простились бы его неудачи и бездолие..»

Бедный и неисправимейший идеалист-романтик! Далеко стоявший от политики, сын Геттингенского ботаника, поэта и философа, забыл, что всеобъемлющее мирозерцание Гете оставляло незатронутым два актуальнейших для москвичей вопроса: отношение к кадетской партии и к министерству Кассо.

Тщетно обращался автор к некоторым влиятельным профессорам, знакомым Шахова, в надежде на поддержку своего ходатайства. Как именитые сановники в «Войне и Мире» лица эти понимали, что «влияние в обществе есть капитал, которым надо дорожить, что ежели просить за всех, то нельзя будет просить за себя».

И потому так прозаически и просто разрешилась Шаховская эпопея. От служителей случайно удалось узнать, будто в отсутствие, без ведома создателя Музея, лишь в сопровождении Курсовой администрации, Шахов приезжал на Курсы и осматривал шкафы Музея. Но не отраженные душой и сердцем автора шкафы эти, конечно, ничего не говорили: чучела стояли чучелами и зачаровавшие в себе космическую красоту тропические бабочки и птицы оставались мертвыми, напоминая в лучшем случае о дамских украшениях и шляпах...

А в итоге?

В расположенном напротив от Музея Морге и хоромах здания Судебной Медицины, созданных на средства Шахова, из года в год росли и множились муляжи давленных, зарезанных, утопленных и угоревших трупов: синие, зеленые, раздутые от газов, гноя, крови, вынутые из воды, из гроба, из огня, из петли, обстоятельно, искусно предьявляемых в просторных светлых залах содрагающим или безучастным зрителям...

И в то же время, в полутемных корридорах и в завешенных витринах Дарвиновского Музея скрытыми от восхищенных глаз стояли замурованными некогда живые аметисты и смарагды..

А в Итоге?

День за днем, год за годом, с раннего утра до поздней ночи, скорбные процессии родных умерших провожают бранные останки преднамеренно ушедших или вырванных насильно жизнью: с воплями и стонами, как толпы «плакальщце» на саркофагах древнего Египта, или молча с мертвым и погасшим взором следуют они за гробом «тихою чредой, как закутанные фигуры афинских феорий на древних барельефах Ватикана» .

Скорбный путь от «Шаховского Морга» и до места вечного упокоения. «Жить незачем!» со скорбью шепчут сотни уст при выходе из Шаховского дома.

«Жить хочется!» сказала побывавшая однажды в Дарвиновском Музее старая учительница из глухой провинции и сотни молодых и старых посетителей его, прощаясь с автором, с глазами влажными от слез...

И было горестно при мысли: дореволюционная Россия находила деньги на мертвецкие и морги, но не находила их на упечение рассадинок живого, жизненного знания.

Да, горестно и гневно, если бы не примиряющая мысль, брошенная некогда великим гуманистом-реформатором!

«Es ist nicht Wahr, dass der kürzeste Weg immer der gerade ist!»

«Неправда, что кратчайшее расстояние всегда прямая линия!»

Обеспечив внешнюю сохранность своего Музея передачей его Женским Курсам и переводением его в надежные каменные стены, приходилось позаботиться дальнейшим пополнением его коллекций.

Мобилизовав предельно все возможные ресурсы, через ликвидацию менее ценных немусейских материалов, заручившись небольшим авансом Курсового жалования, чета зоологов весной 1913 года выехала за границу для ознакомления с крупнейшими зоологическими институтами, музеями и препараторскими фирмами Западной Европы.

Старыми знакомыми для пишущего эти строки, новыми для его спутницы прошли перед глазами все главные Естественно-научные Музеи: Мюнхена, Берлина, Дрездена, Штутгарта, Бреславаля, Лейпцига, Франкфурта, Иены, Галле, Нюрнберга, Кельна, Бонна, Гамбурга, Альтоны, Антверпена, Брюсселя, Парижа, Лондона и Тринга...

Все они лишь подтвердили прежние догадки и сомнения: догадки в отношении разрыва истинной науки и ее отображения в музеях и сомнения в пригодности последних — в их тогдашнем виде — быть рассадниками обобщающего истинного знания для широких масс.

Этого общего упрека не могли избежать даже те музеи, где организация и управление находились в ведении талантливых и признанных ученых-популяризаторов. Везде все те же монотонные ряды звериных или птичьих чучел, в лучшем случае расцвеченных биологическими группами: как будто самая искусная инсценировка жизни и повадок тех или иных животных в состоянии раскрыть значение и смысл изучения живой природы для широких масс.

И эту безидейность, эту идеологическую скудость содержания музейных зал не в силах были искупить ни внешнее великолепие музейных зал, ни слава и признание стоящих во главе музеев лиц, с которыми повторно приходилось встретиться; профессоров Матчи и Рейхенова в Берлине, Курта Ламперта в музее Штутгарта, Долло — в музее Брюсселя, Кисса и Оджльви-Грэнта в Лондоне и всего прежде — Эрнста Геккеля, как основателя прославленного «Филетического Музея» — в Иене.

Но — увы! — даже последний, этот созданный по мысли величайшего из дарвинистов Филетический музей своим учебным, тусклым содержанием своей аморфностью (отсутствием единства, цельности идейной внутренней структуры) лишь доказывал общеизвестный факт, что выдающийся ученый, мастер популяризации науки с кафедры и книга, может оказаться слабым музеологом.

Ценнее чем знакомство с Филетическим Музеем, оказалась самая возможность личной встречи с патриархом Дарвинизма — Гэккелем, таким же обаятельным, как и при первой встрече с ним несколько лет тому назад, и столь же бодрым, не смотря на вынужденный свой уход с созданного им Музея и разрыв с его директором (былым учеником своим) — профессором Л. Плате.

Встречи с Гэккелем было достаточно, чтобы заставить позабыть бесцветность созданного им Музея, беспрудный провинциализм города, как и безрадостные сцены быта местного «корпоративного» студенчества.

И то же при повторном посещении зоологических музеев Англии. Подробное, систематическое изучение Британского Музея и других естественно-научных учреждений Лондона и Тринга подтвердили впечатления пишущего эти строки, восемь лет тому назад им вынесенные от первого знакомства с Англией: богатство фактов, скудость, недоказанность объединяющей идеи.

И, как в случае Музея Филетического, созданного Гэккелем, этим «немецким Дарвином», так и по отношению к Британскому Музею, призванному отразить научное наследие подлинного Дарвина, поездка в бывшее его поместье близ селенья «Даун», принявшего великого ученого-отшельника и сорок лет оберегавшее его от шума Лондона, давало больше, чем знакомство с робкими попытками отобразить учение Дарвина в стенах Британского Музея..

Посещение патриарха Дарвинизма — Гэккеля в его «Вилла Медуза» и паломничество в Даун, эту былую «Мекку» дарвинистов — было и осталось самым светлым и значительным, что сохранилось в памяти четырех зоологов от посещения Западной Европы.

Но не эти встречи и воспоминания определяли ценность разбираемой поездки и реальное ее значение для Дарвиновского Музея.

Основной и главной целью было посещение торговых фирм, снабжающих музеи и лаборатории зоологическими материалами.

Причудливой и радостно захватывающей чередой слагаются воспоминания об этих любопытных учреждениях Лондона, Берлина, Гамбурга и Галле концентрировавшие некогда все мировые предложения и спрос зоологических музеев: от гигантского слона до крохотных букашек.

Процветавшие в былое время, в пору интенсивного развития зоологических музеев, но затем, по мере надвигавшегося кризиса в Европе, сильно сократившиеся и в числе, и по объему операций, эти фирмы по импорту зооматериалов представляли крайне специфические учреждения, как это явствовало из характера заказов и запросов их музейной клиентуры:

«Будьте столь любезны выслать парочку засоленных Гиен!»

«Требуются срочно шкуры квашенных „морских коров“ и шкура крокодила!» — «Сообщите цену чучела Индийского слона и Носорога!» «Какова теперь пометровая стоимость Питонов и Акул? — Телеграфируйте!»

И столь же необычны были получаемые от фирмы ответы: «Сожалею, что не можем Вам служить Акулами и Крокодилами желаемых размеров!» «Ожидаем новый транспорт через пару дней!» «Имеются прекрасные засоленные сумчатые волки, крысы и куницы, но особенно рекомендуем квашенных морских слонов и замороженного Бегемота!» При громадном спросе — предлагаем Вам в первую очередь «First Chance».

К таким то странным фирмам, через сотни сборщиков-коллекторов охватывавших отдаленнейшие уголки земного шара, и направилась чета зоологов, чтобы в «душном» окружении квашенных слонов, засоленных гиен и замороженных акул и крокодилов проводить большую часть времени своей поездки за границу.

Разные по типу и размерам, то объемом в пару комнат (как крупнейшего в Европе импортера птичьих шкурок — Розенберга в Лондоне..) то занимая целые особняки во много этажей, как фирма Умлауфф в Гамбурге и Шлютера в Галле) все эти «музеи в состоянии потенции», как сырьевые склады представляли исключительный и актуальный интерес для всякого зоолога-музейца.

Долгие месяцы и ежедневно долгими часами неустанно проводили автор и его помощница за кропотливой, методической отборкой требуемых материалов, большей частью в виде немонтированных шкур зверей и птиц для их последующей препаровки в Дарвиновском Музее,

Увлекательные и полезные эти работы были все же крайне утомительны при постоянном обращении с останками животных трупов, в атмосфере мышьяковистых и формалиновых паров...

Обычная программа дня слагалась таким образом, что утреннее время посвящалось изучению зоологических музеев, средняя часть дня — работам в зоологических импортных фирмах, а вечерние часы и Воскресенья — посещениям зоологических садов и Парков.

Эти ежедневные тройные дозы зоологии почти не оставляли времени и сил для созерцания обычных «до-стопримечательностей» посещенных городов и побуждали с чувством облегчения приветствовать конец работы и возможность возвращения на родину.

Усталые, измученные после четырехмесячных метаний по Европе, не видав «Европы», осенью 13-го года два фанатика-музейца возвращаются в Москву. Немного позже стали прибывать и транспорты коллекций: слепки, шкуры птиц, скелеты, черепа, отобранные в зоологических торговых Галле, Гамбурга, Берлина, Лондона.

Безрадостно, однако, было это получение: за неимением места, за отсутствием «музея» получаемые материалы приходилось складывать в подвалах Курсов и рабочем кабинете пишущего эти строки. Негде было ни хранить, ни препарировать более крупные объекты. Поселившись по соседству с автором, в Криво-Никольском переулке, в небольшой каморке, препаратор Ф. Федулов вынужден был ограничиться в ту пору

мантировкой небольших зверей и птиц: едва терпевшая работы своего жильца, с трудом переносившая лисиц и галок, ветхая хозяйка маленькой квартирке вряд ли согласилась бы на препарирование львов и тигров. Но о том, как и в каких условиях осуществлять работы препаратора, заботиться всецело приходилось этому последнему.

Да, впрочем, вообще, в означенную пору полностью определилось основное правило Музея и его сотрудников: в заботе о сохранности и росте учреждения полагается только на себя, словно в предвидении, что в будущем, страдать придется больше от чрезмерности опеки, чем от невнимания к себе. К тому же с переходом на Девичье Поле еще более ослабело и без того нетесное общение с коллегами-зоологами, а тем самым с университетскими кругами и с академической наукой. Целиком ушедшие в заботы о Музее, автор и его помощница стояли перед опасностью утратить связь с наукой и ученым миром: прирожденный музеолог, автор рисковал навеки заглушить в себе врожденного ученого а жизненная спутница его Н.Н. Ладыгина-Котс, мечтавшая когда то о Психиатрии, став зоологом, настойчиво стремилась к Зоопсихологии. А между тем, с отъездом в Петербург профессора В. Вагнера Москва лишилась этого единственного зоопсихолога России. И не оживляемый научно-творческой работой, и живую связь с зарубежными учеными Музей грозил переродиться в методическое и учебно-вспомогательное учреждение, если бы не помощь, неожиданно пришедшая со стороны.

Пришла она издалека..... из далекой Африки в лице живого, буйного двухлетнего Шимпанзе. В самом подлинном, буквальном смысле слова ожидаемую помощь — связь с наукой, Запада — Музей воспринял непосредственно из рук этого маленького существа — ушастой, маленькой, веселой обезьянки.

Было это в Октябре 1913-го года. По приходе на занятия на Курсах автору случайно довелось услышать от товарища-зоолога о виденном в одной зоологической торговле молодом шимпанзе, привезенном незадолго перед тем из Гамбурга. С трудом дождавшись окончания занятий, автор бросился домой, чтобы немедленно в сопровождении жены и препаратора Ф. Федулова поехать на смотрины маленького африканца.

Скромный магазинчик на Неглинной, бойко торговавший под зоологической фирмой «Ахиллес». Владелец фирмы, маленький и сангвиничный немец, хорошо оправдывал свою фамилию — проворством, быстротой движений уступая разве своему четвероногому питомцу, маленькому черному шимпанзе, кубарем носившемуся по его квартирке. Занятый в момент прихода посетителей игрой с собачкой, шимпанзенок при виде новых лиц оставил свою жертву, на прощание съездив ей сразмаху по спине ладонью, бросился к гостям, обнюхал всех поочередно, укусил попутно одного из них, и, наконец, уселся на колени и в объятия своей хозяйки, плутовато озираясь в поисках других объектов своих шалостей.

Не думалось тогда, 25 лет тому назад, что маленькому сорванцу дано будет раскрыть душевный мир своих далеких африканских родичей и обеспечить за музеем третье место в мировой науке по исследованию антропоидов.

Но, разумеется, ни о каких «исследовательских» проэктах, планах и программах в пору первого знакомства с будущим питомцем не было и речи. Чувствовалась лишь потребность купить звереныша во что бы то ни стало. Таково же было мнение и препаратора Федулова, товарищески предложившего ссудить задаточную сумму в 250 рублей: по счастью сам владелец магазина согласился на рассрочку платежа.

С глубокой благодарностью доселе вспоминает автор милые, простые отношения к себе владельцев магазина и особенно фанатика-любителя животных Франца Ахиллеса, вынужденного позднее выехать в Германию и вряд ли уцелевшего за годы девальвации и голода.

Но с еще более глубоким, трогательным чувством вспоминается доселе маленький виновник будущего торжества Музея, объект бесчисленных его забот — шимпанзе «Иони», в тот же день перевезенный на квартиру автора и водворенный в специально отведенной комнате.

При всем своем наружном безобразии он искренно располагал к себе своим веселым нравом, вечной склонностью к игре, смышленностью, привязанностью к людям и, конечно, всего прежде, жуткой близостью своей душевной жизни к таковой ребенка, — дефективного, отсталого, но от того не менее нуждающегося в ласке и любви.

Три года, день за днем, с утра до вечера, до поздней ночи продолжалось небывалое в истории науки непрерывное общение четы зоологов с их буйным озорным приемышем. Что же удивительного, если результаты оказались столь незаурядными, единственными в своем роде. Но о собственно научных достижениях, о

результатах двухгодичных опытов и наблюдений, получивших широчайшую известность в мировой науке и блестящую оценку мировых ученых здесь не место говорить.

И тем уместнее отметить то побочное условие, которое в широкой степени содействовало успеху этих и других работ Музея: выполнение давнишнего стремления пишущего эти строки в овладению фотографическим искусством.

Оказавшее незаменимую услугу и сыгравшее решительную роль в последующей жизни автора такое приобщение его к работе с камерой осуществилось при участии известного когда то и в академических кругах фотографа Трофимова.

С признательным и теплым чувством вспоминает автор своего покойного учителя. И как живой встает перед глазами милый образ нестаряющегося энтузиаста. Вечно бодрый, суетливый, несмотря на свой уже преклонный возраст Алексей Трофимович поражал необычайной цельностью своей натуры.

Маленького роста со своей наружностью актера или старого немецкого учителя, всегда опрятный внутренне и внешне, педантичный с виду, мягкий по характеру, он преисполнен был неиссякаемой энергией и юношеской верой в знание, науку и — увы! академических ученых.

Порекомендованный одним коллегой Алексей Трофимович Трофимов с первых дней знакомства с ним советовал обзавестись своею камерой, что наконец и было сделано путем покупки аппарата «Ментора» — зеркалки с шторным, падающим затвором. И, конечно, если бы не бескорыстные труды и знания Трофимова, — работы Дарвиновского Музея никогда не получили бы той внешней инструктивности, которая позднее так поражала европейских и американских критиков.

Но не легка была задача приобщения автора к дотоле неизвестному ему искусству и еще труднее, научившись поспевать за темпами работ учителя. И вспоминая долгие пятнадцать лет совместного труда с Трофимовым, доселе поражаешься его настойчивости, терпению и бездонному запасу сил и энтузиазма.

Сколько раз, бывало, после многочасовой работы по сниманию живых объектов (только искусственные в фотографировании живых животных знают, как выматывает это их выщеливание объективом!), начинаешь чувствовать, что силы на исходе, что сдаешься, что пора кончать... Но вот высовывается из «темной комнаты» Трофимыч, свежий, бодрый и неугомонный, призывая к продолжению сеанса: «Шевелёно!» «А момент хороший.. Надо повторить!» И снова и опять становишься за полупудовую камеру, старясь уловить на фокус непоседливую и капризную натуру: обезьян, собак, и попугаев.. Лишь космическая невозможность продолжать работу полагает ей предел: склоняющееся к закату солнце, прячась за деревья, делает бесцельным продолжение сеанса. Да и время: люди, звери, экспериментатор и фотограф одинаково измучены и обессилены. Не то Трофимыч: — «Вы никак устали?» удивляется неугомонный старичек. — «А я вот ничего! пойду отсюда на Москву-реку.. Под вечер хорошо клюет!» (Фотограф по профессии был страстным рыболовом.)

Бедный старичек! В заботе о семье и близких, отойдя последние годы от Дарвиновского Музея, поступив на службу к одной фирме он жестоко надорвал себя работой, переоценив силы, недооценив годы, и уже непоправимый, лежа неподвижно на больничной койке, юношеским сердцем все еще боролся и надеялся и порывался к жизни и работе...

Бедный старичек! один из тех безвестных самородков, отыскать, использовать и претворить, и полюбить которых суждено было лишь Дарвиновскому Музею, гордому, счастливому своею встречей с этим преданным работником, преданным, простым, правдивым сердцем...

Овладение фотографическим искусством было крайне своевременным. Едва постигнув тайны камеры и темной комнаты, весной 1914 года приходилось думать о самостоятельном их применении. К означенному времени чета зоологов была достаточно измотана: болезнь и кончина бедной Маши, так и не дождавшейся расцвета своего хозяйства, бдение у Лоренцев, метание по загранице, мытарства по меценатам, хлопоты по содержанию шимпанзе, несколько остепенившегося, правда, за истекший срок, — все вместе сильно подорвало силы. Приходилось думать и о летнем отдыхе, которого сам автор был лишен уже около десятка лет. Еще нужнее отдых был его подруге и помощнице: родившейся и выросшей в лесах Поволжья и Привольной Оренбургской степи, далеко от столичной жизни, бедной девушке не думалось, что долгие годы придется ей сидеть безвыездно среди асфальта, камня, копоти и дыма и...мышьячных испарений. И..благодарить судьбу за относительное благоденствие....

Однако, в разбираемую пору, в Мае 1914 года, все казалось тихо и ничто не говорило о грядущих потрясениях страны и мира. Необычным, правда показалось временное размещение воинских частей по корридорам Высших Женских Курсов.... Люди, находившиеся в курсе политических событий может быть, а частью и наверное, — чуждали зарницы и раскаты приближающихся бурь... Но что сказать о чуждой и политике, и партий, молодой чете зоологов, всецело занятой заботами об обезьяне и Музее. Все казалось мирно и спокойно. И поэтому по приглашению родных, оставив Музей и дом на попечение препаратора Федулова, чета зоологов забрав с собой обезьяну, камеру и пуд фотографических пластинок полунеделей позже оказалась в захолустном уголке Поволжья, в тридцати верстах от города, в миниатюрном домике, открыто расположенном вблизи леса.

Все казалось приглашало и располагало к отдыху: и ласковые попечения родных, принявших на себя все материальные заботы, и безлюдие «Безлюдовки» и простор полей, и тишина лесов и степи...

Но увы! Словно гонимый духом неустанного протеста в отношении покоя, автор и его подруга, — занесенные в условия абсолютного безделья, не смогли и не сумели изменить себе. Во истину, из всех упреков, мыслимых к пишущему эти строки, одному, во всяком случае не было бы места: нареканию в успокоенности и бездельи. Не успели гости отдохнуть от долгого пути, устроиться на месте, приспособивши под резиденцию шимпанзе мезонинчик с небольшим балконом, превращенным в выгул, — как поставлен был вопрос о деловом, т.е. полезном для науки и Музея проведении времени. И было ясно, где искать решения вопроса: на него указывали — полупудовая камера и пудовой запас фотографических пластинок.

Несколько часов работы — и сколочен был двухметровый подрамник, простыня, натянутая на него давала фон, другая, брошенная на скамью и стол — сидение для снимаемых. Все вместе, вынесенное на лужайку перед домом — превосходное фотографическое ателье: «Юпитером» служило солнце, а экраном — купол неба и степная даль. Что в том, что стоя долгими часами перед камерой, спиной к солнцу, сам фотограф опалил себя его лучами и что отражаемый экраном свет до боли ослеплял глаза.. Что в том, что уроженец Африки, любитель зноя, но не света, маленький Шимпанзе истерически протестовал против жары Поволжья!.. Сотни замечательнейших снимков удавалось получить именно в эту пору, только этим способом. Смоляно-черный и «неактивный» бойкий и вертлявый шимпанзенок поддавался съемке лишь при максимальном свете и минимальной выдержке. Что же удивительного, если получавшиеся снимки десятью годами позже вызывали самые восторженные отзывы ученых Зап. Европы и Америки.

Но не легко давались эти фотографии. И как и все, что создавалось автором, только ценою всей его энергии, всей воли, всего времени.

С самого раннего утра устройство «ателье» на упомянутой лужайке перед домом и мобилизация зоологического «трио»: автора, его жены и обезьяны. Начиналась тяжкая работа. Под палящим солнцем и перед сверкающим экраном, неподвижное стояние перед камерой с лицом, опущенным в раструб зеркалки и упорное выцеливание на фокус юркого шимпанзе, как «волчок» вертевшегося в поле зрения. Хлопотливо было для фотографа, еще труднее для его помощницы, сидевшей рядом со своим питомцем: приходилось одновременно определять сюжеты, выбирать «моменты», корректировать фотографа и уговаривать «натуру». Пересняв полдюжину пластинок, бегом направляешься в чуланчик, приспособленный для проявления и зарядки, и, сменив кассетки, снова бегом на лужайку и опять за камеру. Давно уже солнце перешло за полдень и накрытый на веранде стол томится в ожидании обеда, и хозяйка дома недоумевающе и укоризненно и жалостливо-ласково следит за «сумасшедшими» людьми... А с луга из за белоснежного экрана продолжают нестись все те же возгласы: «Еще раз! Иони, тихо! Вот хороший замечательный момент.. Успех? Нет! Ну, еще раз! Иони, да сиди же смирно! Вот теперь! Ах, замечательно! Ну, кажется, удачно... Нет? Так, надо повторить!»

Едва кончается обед, как начинается работа с негативами, проявка, и просушка, а на утро снова и опять метание с кассетами и бдение на солнце с полупудовою камерой на шее.. Так проходят дни за днями. Привезенный пуд пластинок был использован и новый пуд, выписанный из Москвы, подвергся той же участи, а на лужайке, перед домом, продолжались неустанные работы с камерой, выматывая людей, и камеру и обезьяну...

И неизвестно, до каких пределов продолжалось бы такое истребление пластинок и энергии, если бы... само небо не поставило ему предел. После двух месяцев безоблачного лета сразу погрозило осенью. Холодом повеяло с Суры и ветер, жестокий и порывистый, ломая сучья и взмывая листья, закружил вокруг затерянного домика на опушке. Померкло небо, потускнел «Юпитер», кончилась работа «фото-павильона». Кончилась страда зоологов-фотографов и маленького африкандера.

Оставшаяся безработной чета зоологов пыталась все же и по наступлении ненастья **использовать** житье в деревне и соседство с лесом **для Музея**. Захвативши топоры и пилы, отправлялись они в лес, ища раскидистые ветви и суки, пригодные для монтировки чучел лазающих зверей и птиц. Когда же затянувшаяся непогода преграждала доступ к лесу, в маленькой и полутемной горенке близ кухни на досчатом столике, близ «красного угла», было положено начало первым опытам по изучению «познавательных способностей шимпанзе» десятью годами позже столь высоко оцененными мировой наукой.

Разразившиеся неожиданно события — начало мировой войны — прервали все эти занятия, поставив под угрозу самое существование Музея и всю будущность его строителей мобилизацией самого верного их друга, создателя Музея, препаратора Федулова.

«Грядущее бросала перед собою тень». Привыкшие к борьбе духовной, автор и его подруга словно чувствовали будущую роль единственного их друга в борьбе с грядущими стихийными, космическими бедствиями, холодом и голодом и со стихийной злобой, завистью и низостью людской.

Да, впрочем, самая война воспринималась в разбираемую пору как стихийное, космическое бедствие.. И помнится, как на пути в Москву, при встрече с поездами, везшими военнопленных венгров и австрийцев — обоюдно чувствовалось полное отсутствие вражды и неприязни.

Но не то в Москве. Усилиями «прессы» общество уже было обработано. От «тон дававших» органов до гаденьких журнальчиков старания печати были все направлены на то, чтобы излить самые мутные потоки гнусного, звериного национализма.

Прошло немного месяцев и снова стены и заборы расцвелились новыми приказами о дополнительных призывах ратников для отправления на фронт. И рядом с прочими годами и ничем не выделяясь от других и отпечатанным таким же шрифтом, жутко деловито значился и год призыва пишущего эти строки...

Оставалась слабая надежда на предоставление автору отсрочки, как единственному сыну матери-вдовы и как преподавателю Высших Женских Курсов. Но эта скромная надежда оказалась мнимой. На запросы, сделанные в Штабе Округа упитанный, блестящий адъютант любезно отчеканил «Вы должны служить!»

Неутешительными были также справки, наведенные на Курсах. — «Как общественное, но не правительственное учреждение Курсы не освобождают лекторов от воинских призывов..» с сожалением сообщил директор Курсов, направляясь к ожидавшему его на улице автомобилю.

Мертвым взглядом провожали автор и его подруга говорившего, прощаясь мысленно друг с другом и своим призванием...

«Вы призываетесь?» раздался неожиданно вопрос знакомого профессора- историка (Ю.В.Г.), случайно вышедшего в Вестибюль и слышавшего разговор с директором. — «Немедленно, вместе с директором Курсов, отправляйтесь в Штаб и разъясните, что Музей не может оставаться без хранителя!» Историк в роли охранителя Музея!.

Не прошло и 10 минут, как автор и Директор Курсов были в помещении Штаба и все тот же вылощенный офицер с удвоенной любезностью пошел с докладом в кабинет к начальнику. — «Вы не узнали? Собинов!» шепнул Директор. Знаменитый тенор, будучи мобилизован и устроившись при Штабе ловко и изящно, как на сцене — выполнял обязанности адъютанта. Принятые тотчас же начальником мобилизационного Отдела, посетители договорились, что за невозможностью формального освобождения, пишущему эти строки, как непроходившему военной службы и анатому будет дана возможность отбывать призыв в Москве в одном из медицинских учреждений. С облегченным сердцем возвратился автор к своим близким и к очередным заботам о Музее.

Но настал и день призыва. С раннего утра огромный пустырь у Калитникова кладбища был оцеплен, и бесконечной лентой выстроились призывные, проходя по очереди у контрольного поста. С тяжелым чувством занял автор место в этой длинном, но пока еще не обезличенном ряду. Страдание, горе, безнадежная тоска, тоскливый юмор, напускное равнодушие, стихийная распушенность, притворное веселье, разгул цинизма — все смешалось в этой массе обрекаемых на смерть людей. Фальшивым, ложным чувствовал свое присутствие в ней автор: обеспеченным заранее спокойным местом, «окопавшимся в тылу», статистом в этой массе жертвенных актеров жизни...

После многочасового ожидания толпу призывников согнали на большую площадь перед неказистым зданием и, окруженный группой писарей и офицеров, воинский начальник, грузный, плотный пожилой мужчина, стал по списку выкликать фамилии отдельных лиц.

Отмеченные в списке выходили наперед и становились в сторону. Имени автора не оказалось в списке. На последующее предложение выйти из толпы всем мотористам и шоферам несколько десятков человек оставило ряды и тоже выстроилось в стороне. Новое требование: выделиться всем больным, нуждающимся в медицинском освидетельствовании. Не смотря на строгое предупреждение, что симуляция бесцельна, подавляющее большинство оставило ряды, под иронические замечания оставшихся. Но не до смеха было пишущему эти строки. Неподвижно стоя впереди редеющего ряда, он не сразу понял, что случилось нечто роковое и непоправимое: что стихийно увлекаемый в водоворот событий, он, из роли временного зрителя-статиста, переварился на положение активного участника.

Как паук по освященному природой трафарету четко и уверенно опутывает свою жертву, как змея парализует наперед свою добычу, так уверенно и методически опутывались люди, обрекаемые на смерть и, «питон войны» заранее уже обезволил их. «Мышиной беготней» бессильно суетливо проносились в мыслях робкие попытки вырваться из этих пут, а невидимая рука все более затягивала их.

Солидный унтер-офицер в сопровождении писаря стал обходить ряды и отбирать имевшиеся на руках призывные свидетельства, обменивая их на металлические бляхи с номерами. Вместе с документами казалось, исчезла и живая личность: люди заменялись номерами.

Механически, автоматически принял автор данную ему медяшку, то единственное, что отныне оформляло его жизнь и чему, быть может, суждено будет поведать близким о судьбе его, там — на полях Галиции...

Обход закончился и раздалась команда: «Полуоборот направо! Шагом марш!» и путаясь, давя друг друга неумело тронулась толпа людей по направлению к офицеру, вышедшему для приема новобранцев.

Щеголяя блеском лаковых сапог и щек, и фабра, офицер поздравил пригнанных к нему людей «со вступлением на действительную военную службу!» («Рады стараться ваше благородие!» нестройно пронеслось в толпе), добавив, что как знак особой милости начальства им предоставляется полдневный отпуск для прощания с родными с обязательством явиться в тот же вечер для отправки с поездом на Юг. Приятно улыбаясь сообщил все тот же офицер, что в случае неявки таковая будет считаться дезертирством, наказуемым по законам военного времени.

Толпа задвигалась и стала расходиться. Но недвижно продолжал стоять на месте автор, словно все еще надеясь, что рассеется мираж, и только по медяшке, холодевшей в руке и сердце, чувствуя весь ужас и реальность происшедшего. Как в полусне, сонambuлой стоял он на плацу, смотря на уходящую толпу и ничего не видя, не чувствуя, как медленно и тихо плыла мимо него земля и все, что связывало с ней..

«Ваша профессия?» раздался полновзвучный голос. Отделившиеся от своей свиты, медленным плывущим шагом подходил хозяин поля — Воинский Начальник. Поразила ли его наружность одинокого мечтателя или выражение отчаяния на его лице, но завязался следующий диалог:

«Ваша профессия!» — «Директор Дарвиновского Музея и преподаватель Высших Женских Курсов!»

— «И вы тоже призываетесь? да Вы больны! На Вас лица нет! Почему Вы не просились на комиссию?»

— «Да я здоровый!.. Но у вас должно быть отношение из Штаба о предоставлении мне права отбывать призыв по специальности!»

— «Какой Вы там здоровый! Худенький и шупленький! И силы никакой! Любой наш врач Вас забракует!»

Взявши под руку свою былую жертву, приглашая следовать за собой, былой паук направился в самую гущу сети, в самый центр паутины: к длинному казарменного типа дому, занятому Воинским Присутствием.

Коротенький приказ и металлическая бляха заменилась документом: номер — человеком. Побуждаемый все теми же безвестными мотивами, паук стал энергически распутывать свою добычу, также механически автоматически, как минуту перед тем опутывал ее..

— «Вот, посмотрите!» обратился он к военному врачу — «Совсем больной, а притворяется здоровым!»

Видимо привыкший к диагнозам своего начальства, молодой служитель Эскулапа и Арея бегло прикоснувшись трубкой к «мнимому здоровому» решительно отметил на его бумаге: «На Комиссию!»

На очереди — освидетельствование в Комиссии врачей. И приходилось призадуматься: что, если, предоставленный лишь себе, без помощи военного начальства Эскулап не одолеет Марса? Да и есть ли основание для апеллирования к первому? Что долготелее горение на пламени Музея истончило сердце и анатомически — было возможного благоразумнее, казалось, все же полагаться больше на общественное положение, чем на состояние сердца.

Инстинктивно чувствуя, что временно изъятный из гигантской паутины он вторично может быть захвачен ею, автор с трепетом шагнул через порог обширной залы заседания Комиссии. И не напрасны были опасения. Наблюдавшееся на плацу бледнело перед видом залы.

Там — лишь ожидание борьбы и добровольный от нее отказ. Здесь сотни голых тел в смятении и тоске барахтались в сетях болезней и врачей, стараясь вырваться при помощи больного сердца, гноя, грыжи, язвы и пустого легкого, с любовью, жалостно ссылаясь на свои недуги мнимые и явные, с тревогой следя за лицами врачей. Этим последних было двое: старый с видом закоснелого армейского служаки или старого экзаменатора, неумолимо сухо «резавшего» (— «годен! годен! годен!»).. слышались его слова, и молодой безусый доктор, с виду более гуманный. Очередь случайно привела к нему. — «На что Вы жалуетесь?» — Беглая взаимно понятая встреча глаз. «Род Вашей деятельности?» — «Профессор!» — изумленный вскид бровей и рук.. Короткое прикосновение к «профессорской» груди и резолюция: «отсрочка на шесть месяцев: — болезнь сердца.»

Но с сугубым — двойственным, ликующе-гнетущим чувством принял автор избавительную весть. Трупно белея на суконном вицмундире старого врача, успевшего произнести свое очередное «Годен!» высилась худая, длинная фигура новобранца. С искаженным ужасом лицом, застывшим взглядом широко раскрытых глаз он обращался к зале, к сотням голых тел, — нет, к пишущему эти строки! с молчаливой жалобой на совершенную неправду...

По возвращении домой в это навеки памятное утро автора ждала другая радость: встреча с самым близким другом, препаратором Федуловым, отпущенным на краткую побывку с фронта.

Восемь месяцев разведочной кавалерийской службы сохранили невредимым главного создателя Музея. И так скорбно было слушать скромные рассказы очевидца и участника великой бойни, того самого который незадолго перед тем вернул подаренное ему ружье после единственного своего трофея, маленькой пичужки, со словами: «не могу я дать ей жизнь, — не могу и убивать ее!»

Свидетель вопиющих злодеяний и жестокостей людей, он редко говорил о них, как неохотно говорил и о себе и только вспоминая о своих четвероногих спутниках, деливших все невзгоды своего хозяина: усталость, голод, холод, кровь и ледяные воды Немана, глаза нашего друга становились влажными: «Пусть люди сами же страдают за свою неправду, но мои бедные лошадки!»...

И так ясно чувствовалось, что свидетель величайших внешних поражений оставался победителем на самом трудном фронте — своей личной совестью и личной этикой.

Но наступил и день разлуки. Призванный воссоздавать посмертно жизнь и красоту животных, снова отправлялся на уничтожение людей, туда, где пели пули и рвались снаряды и сердца, а два осиротевших друга — в скромную свою квартиру, оглашаемую надрывными песнями обучаемых на улице солдат.

Сотни, тысячи их обучались «браво» проходить перед начальством «пожирать» его глазами. «Ать-два, ать-два! Левой, левой!» хрипло деревянно доносилось с улиц в перемену с топотом и криком дрессируемых людей.

А между тем, пока на улицах происходило это превращение людей в безвольных автоматов, в скромной комнате на пятом этаже производилось обучение иного рода, менее обычное, но более разумное и уже, конечно, более моральное, диаметрально противоположное тому, что заполняло улицы: там — массовое отупение и озверение людей, здесь — робкая попытка пробудить в животном искру человеческого осмысления.

Маленькая комнатка — лаборатория. На столике уже знакомый нам Шимпанзе. Перед ним любовно и настороженно вглядываясь в своего питомца и готовая ежеминутно изменить методику работы, молодая

ученица. Ее руководящий основной принцип: отказ от всякой дрессировки, применение не механических, но развивающих приемов обучения. Цель работы — вскрытие заложенных в животном дремлющих психических способностей.

День за днем тянулись эти утомительные опыты, широко охватывая всю сферу зрительного восприятия, способности животного к распознаванию цветов и сочетания цветов, рисунков, формы и величины, изображения предметов, способностей к эстетическому восприятию, отождествлению признаков, отвлечению и многое другое, замурованное в темной и неведомой дотоле психике Шимпанзе.

Редкая неделя проходила без визитов тех или других ученых: антропологов, анатомов, зоологов, психологов, охотно откликавшихся на приглашения присутствовать на опытах, которым суждено было занять впоследствии одно из первых мест в науке о душевной жизни Антропоидов.

Однако самые эти работы давались не легко: в описываемое время, летом 1915 года, уже надвигались первые сигналы продовольственного кризиса и все труднее становилось содержать балованного шимпанзенка.

Также не легко давалось обеспечение необходимое для работ аппаратурой. При отрезанности от всей Западной Европы и мобилизации сотрудников, работы по изготовлению объектов, применявшихся при опытах производились самим автором, как и фотографирование сеансов.

Около того же времени работы с камерой нашли себе еще другое применение, связанное с отношением автора к тому единственному учреждению, которому помимо Дарвиновского Музея, суждено было доставить много радостей, много огорчений пишущему эти строки.

Удивительна судьба и вся минувшая история Московского Зоологического Сада. Призванное к жизни около середины прошлого столетия по мысли группы выдающихся ученых, призванное стать источником широкого и радостного просвещения, — это учреждение выполняло свою миссию тяжелой, дорогой ценой неиссякаемых страданий для животных, распрей для людей, их опекающих.

Как зараженное в момент зачатия дитя, беспечно радуя гостей, таит болезнь и неисчерпаемый источник горя для себя и для родителей, так и Московский Зоосад с момента основания таил в себе задатки своего недуга. Радуя миллионы приходящих зрителей, Московский Зоосад для лиц, причастных к управлению его, был «дар Пандоры»: вечным и неиссякаемым источником раздоров, горя и страданий.

Но... «senator bonus vir».. И с рядом деятелей Зоопарка автор с давних лет поддерживал корректные и дружеские отношения. С особым теплым чувством вспоминает он доселе бывшего директора Зоологического Сада И.А. Антушевича, охотно помогавшего занятиям юного натуралиста разрешением бесплатных посещений Сада и предоставлением трупов небольших зверков и птиц. Содействием того же Антушевича шестнадцатилетний мальчик был обязан лестным для себя участием в научных Зоосадских выставках и получением двух серебряных медалей за коллекции чучел собственной работы. И обратно, в меру скромных своих сил и средств автор старался быть полезным Саду, доставляя из своих зоологических поездок небольшие транспорты живых зверей и птиц.

Несколько ослабленные за время пребывания автора в Университете отношения автора к Саду снова оживились после основания Музея, и особенно к весне и лету 1915-го года.

К этой именно поре относятся усиленные увлечения автора фотографированием животных Сада, начинание, которому впоследствии было дано сыграть решающую роль в судьбе Музея и его создателей. И только этой «перспективной» ценностью работы с камерой возможно оправдать то рвение, которое вносилось автором в эти работы.

Пользуясь лишь ранними утрами, до открытия зверинца публике, спешишь бывало в Сад, чтобы в отсутствие людей, лицом к лицу с животными попытаться закрепить их в моментальных снимках. И доселе, не смотря на тяжесть наслоившихся впоследствии воспоминаний о злосчастном учреждении, — нет-нет и оживают милые картины радостного, светлого общения с его звериным населением, как в чуждом измененном облике когда то близкого умершего порою чудятся былые дорогие, навсегда угасшие черты.

Раннее утро. Полное безлюдье. На росистой зелени газонов, тополей и, полупотонувших ив ночная свежесть, и покой, и тишина, не оскверненные пока людскою пошлостью и суетой, и пылью... Отдохнувшие за

ночь животные встречают каждое по своему их друга с «черным пугалом» (тяжелой фотокамерой) в руках, с карманами набитыми прикормом.

С торжествующим и зычным кликом и «приветственно» махая крыльями несутся вам навстречу лебеди, валторном отвечают им осанистые журавли, хохочут чайки и сосед их поневоле (а быть может и по родине) Орлан, закинув шею, оглашает воздух надрывными криками, словно соперничает с чайками в тоске по вольной жизни.

С любовным трепетом внимаешь этим звукам чуждой и неведомой стихийной жизни, радуясь при мысли, что дуло ружья сменила камера.

Безкровные и мирные эти выцеливания объективом все же требовали много выдержки. Снова и снова выезжаешь в Сад, часами неотступно и без усталости следишь за непокорною натурой, чтобы уловить на фокус требуемый поворот. Снова и снова пробуешь с любовью, с лаской подойти к вибрирующей от страха психики животного. В итоге долгой утомительной работы по Зоологическому Саду — сотни снимков с большинства четвероногих и пернатых узников, прошедших через объектив, через глаза и сердце пишущего эти строки.

Долголетние работы в Зоосаде, к сожалению, не ограничивались лишь общением с его звериным населением. Невольно приходилось сталкиваться и с человеком, против воли прикасаться и к административной жизни Учреждения (в роли Члена Наблюдательной Комиссии Сада) и виденное здесь не вызывало оптимизма.

Бесконечные интриги, партии и группировки сотрудников Зоологического Сада вызывали то и дело смены назначаемых директоров, обычно столь же мало сведующих в зоологии, как лица, назначающие их: люди различнейших профессий — пчеловоды, фармацевты, энтомологи и педагоги бесконечной чередой сменялись на посту директора Зоологического Сада, уходя бесславно с этого безрадостного места.

Вместе взятое, заканчивание фоторабот и возрастающие распри среди служащих Зоологического Сада вынудило пишущего эти строки отойти от этого безрадостного учреждения и приветствовать приглашение на пост директора товарища по Университету энергичного и даровитого ученого — Ю.А. Белоголового.

Не думалось, что по прошествии немногих лет, пост этот все таки поручен будет пишущему эти строки, в пору несравненно более тяжелой для Сада.

После ряда лет участия в работе крупного и признанного учреждения Зоологического Сада, приходилось целиком вернуться к замкнутой уединенной жизни неизвестного, директора безвестного Музея. И вдвойне уныло было это возвращение.

Незадолго перед тем — весной 1916-го года умер маленький шимпанзе. Ни заботливый уход, ни печь-голландка, купленная на скромные сбережения, ни апельсины, покупавшиеся на последние рубли, не в состоянии были заменить убитой матери, родных бананов и родного солнца.

Долго и мучительно он умирал в морозную, сухую мартовскую ночь вдали от своей знойной родины.

Молча, с надрывающимся сердцем и слезами на глазах, стояла, наклоненная над ним чета зоологов. Бедное маленькое существо, единственное в своем роде, так жестоко вырванное из лесов далекой Африки и перекинутое в неприятный Север, в каменные стены.. так доверчиво раскрывавшее свой милый нрав, свои безхитростные дарования!

Словно исполнив свою миссию, взамен оказанной ему любви и ласки закрепивши свое имя в мировой литературе, «обессмертив» в ней своих хозяев, маленький шимпанзе словно торопился развязать им руки перед надвигавшимися грозными годами тифа, голода и холода.

Бедные жалкие единственные в своем роде слезы в том море слез что затопляли о ту пору мир! Что вызвало их?

Не сожаление об умирающем любимце, в годы гибели миллионов убиваемых людей, что значили страдания и смерть звереныша?

Не огорчение от незаконченных работ, уже успевших оправдать себя...

И не усталость от трехлетнего сверхсильного труда — смерть маленького деспота сулила явное освобождение...

Нет! чувство более глубокое, более сложное и более интимное захватывало в те минуты оба сердца в молчаливом горе и немом вопросе, скорбном и мучительном: — дано ли будет им когда-нибудь склониться над больным, пусть даже умирающим своим ребенком? И потребует ли впредь призвание обоих продолжения отказа от их личной жизни? Эта светлая каморка, превращенная в лабораторию и оглашавшаяся только визгом обезьянки и приветствием ученых, эта комнатка — услышит ли она когда-нибудь и детский лепет, озарится-ль детской улыбкой? Или же по-прежнему весь жертвенный порыв направлен будет на создание Музея, год за годом поглощая все — и силы, и семью, и молодость..

И стоит ли так много жертв нести во имя этого Музея «будущего» этого «невидимого града», этих посулов грядущего, этого общества, не ждущего и не желающего жертв? Что, если эти посулы обманчивы? Если за умственным миражем, за фотоморганой будущего потеряется навеки повседневно будничное счастье большинства людей и в неизвестной комнатке, в безвестной жизни обитателей его, лишь повторится, старая как мир, и никому ненужная трагедия борьбы общественной и личной жизни?..

Жалкий век, в котором жертвенный порыв отбрасывают, как ненужный дар! несчастная страна, в которой созидание культурных ценностей, служение обществу, возможно только на развалинах семьи!

Но, может быть упреки эти преждевременны и равнодушие общества лишь кажущееся? что объясняется оно только незнанием идеи автора и неумением его стучаться в нужные сердца? Москва Бахрушиных и Третьяковых, Мамонтовых, Шеллапутиных не может не откликнуться на мысль о приобщении широких масс к научному мировоззрению, сильнее определяющему жизнь, чем созерцание картин и статуй, чем «История Театров»....

«Обратитесь к Второву! — Теперь — это влиятельнейший человек в Москве, глава нашей тяжелой индустрии.. „Николай Второй“ как именуется негласно он в промышленных кругах. Заводчик, сибиряк, недавно он пожертвовал большие суммы Томскому Университету.. Человек он независимый, свободомыслящий и не откажется помочь живому делу..»

Так советовала одна, известная в ту пору по Москве общественная деятельница, повторно помогавшая Музею.

В темный, мгlistый, зимний вечер автор и его жена отправились стучаться к новоявленному меценату.

Рыхлый снег, сырыми хлопьями валивший с полдня, слепил глаза и не давал ни обменяться словом, ни остановиться. Молча, оступаясь и скользя, поддерживая на ходу друг друга, подходили оба ко дворцу железного магната.

Грандиозный ящик из бетона, стали и стекла — дворец-крнтора — деловито-холодно светился сотнями огней. Осыпанные снегом, оба путника остановились у подъезда. — «Главное как можно ярче и короче изложи все дело!» говорил уверенный и тихий голос: «доберись до его сердца! Постарайся отыскать простые и понятные слова! Правдивые и душевные!»

Stimm'an den vollsten Ton!

Nimm alle Kraft zusammen, die Lust und auch den Schmerz! Es gilt uns heut' zu rühren des Königs steinern Herz.

Эти слова давно забытой, но знакомой с гимназической скамьи баллады Уланда («Проклятье Певца») невольно приходили в голову, когда напутствуемый у подъезда, автор поднимался по великолепной лестнице этого царства цифр. Сонмы счетоводов и секретарей, конторщиков, канцеляристов, с безупречными проборами шныряли по широким корридорам или сидя, на высоких стульях, изживались в таинствах бумаг и чисел. «Прямо в Общую Приемную! На лево, к личному секретарю! Как доложить?» сменялись деловые реплики по мере приближения к тому невидимому человеку, волею которого определялась жизнь бессмысленного здания..

И в самом деле. Эти двухэтажные зеркальные двойные окна, превращающие здание в подобие гигантского аквариума, для чего они?

Для гигиены? для асептики? Но неужели щелканье по счетам и скрипение перьями возможно только обстановке операционных зал?

Для нравственной асептики? Но неужели честность этих счетоводов так невелика, что лишь посаженные за стекло, в стеклянном фонаре, они способны проявить ее?

А между тем, одной подобной залы в этом «Деловом Дворе» достаточно было бы, что бы обеспечить жизнь и призвание Дарвиновского Музея.

Беспольные и праздные мечтания эти были прерваны секретарем.

«Войдите!» прошептал он, отворяя дверь в «святилище», немного удивленно посмотрев на черную академическую шапочку вошедшего.

Большая рыхлая фигура, глубоко сидящая в тяжелом кресле, щеткой стриженная голова и жесткие усы и брови на сыром и неприветливом лице.

— «Что Вам угодно?» — раздалось из кресла.

«Ныне или никогда!» блеснула мысль автора. В бездушных стенах, видимо впервые слышавших живую речь, он попытался все же отыскать это живое слово.

«Окажите помощь новому и благодарнейшему делу! новому Музею! Сходной по идее, но гораздо менее обширный Иенский Филетический Музей считают национальной гордостью Германии, в его создании участвовали величайшие ученые и представители промышленного мира. Стоимость одной лишь вашей залы, Вашего дворца-конторы, отданная на постройку здания Музея, обеспечит дело. Дайте стены новому Музею и да сохранится в памяти Москвы, ее грядущих поколений, светлое предание, что в темные годы мировой войны нашлись широкий ум и щедрая рука для дела мирного культурного служения.. Сердца миллионов будут благодарно вспоминать о Вашей помощи.. Эти миллионы благодарных лиц невидимо присутствуют здесь в этой комнате и ожидают вашего ответа..»

— «Извините!» сухо прозвучал из кресла голос Второва. «Здесь, видно, недоразумение. Вы обратились не по адресу: я — коммерсант, я занят, у меня — дела!»

Трезвое слово «делового человека» как удар хлыста, как звук пощечины коснулось оно автора. Хотелось броситься на эту утопавшую в пружинах человеческую «трезвость» и встряхнуть ее железное благополучие, хотелось крикнуть: «Да поймите же, что предлагаемое мною деловитее, нужнее, неотложнее, чем все ваши „дела“ в вашем бессмысленном, бездельном „Деловом Дворе“!»

С негодованием, молча посмотрел проситель на сидящего напротив горе-мецената. «Очень извиняюсь, что напрасно лишь побеспокоил Вас!» «Мое почтение!» — буркнуло из кресла.

Хлопя снега все еще носились в воздухе, скрывая небо, облепляя фонари, дома, фигуры пешеходов и затерянную среди них чету зоологов. Скользя и оступаясь грустные, усталые брели они домой.

«Уж ты не очень огорчайся!» говорил уверенный и тихий голос — «что так неудачно вышло и на этот раз! Поверь, ведь все равно Музейчик наш **дождется своих стен!**» Да, разумеется дождется... думалось автору, но только бы не слишком поздно, не тогда, когда уж погаснут силы творчества и жертвенного энтузиазма.

И сомнение горькое и жгучее, готово было овладеть душой.

Что, если на подобие юному певцу в балладе Уланда и творческие силы автора до времени иссякнут? Грустная и знаменательная аналогия ввиду трагического эпилога приведенной встречи.

Протекло немного месяцев, и пуля неудачного просителя прервала жизнь Второва, как после Октября 17-го года расплылась и развеялось его промышленное царство;

«Versunken und vergessen.... in ew'ge Nacht getaucht»...

Итак, опять полнейшая и оскорбительная неудача.

Снова приходилось возвращаться в распыленный, свернутый Музей. Повторные попытки выпросить у Курсовой администрации отдельное и замкнутое помещение остались безуспешны. Приютив Музей на время первых лет, Женские Курсы сами бурно развивавшиеся о ту пору, занятые расширением своих лабораторий, клиник, аудиторий не могли поспеть за ростом своего приемыша. К описываемому времени — к десятилетию основания Музея к лету 1917 года он уже перерос заботы и возможности своей приемной матери и словно оперившийся в чужом гнезде орленок тщетно расправлял свои окрепшие, готовые к полету крылья: было некуда лететь.

Но как же быть? Мириться с вынужденной ситуацией и временно остановить работу впредь до подискания необходимых стен?

Как будто именно в музейном деле более, чем когда либо, стоявшие на месте не тождественно движению назад! Как будто творческую мысль и энтузиастичность воли по желанию консервировать на будущее, «про запас»!

Но, как же быть, если Музей — есть форма, а последняя нуждается в пространстве, в территории... Если оказывается, что помещения **находятся** для образцовых моргов и мертвецких, созданных на средства «меценатов» в целях закрепления апофеозов смерти, если **нет** необходимых помещений для музеев, закрепляющих апофеозы жизни?!

Оставался, очевидно, лишь один исход: перенести, свое служение Музею в помещение Музея Смерти, — в расположенные по соседству Дарвиновского Музея — стены Морга.

Летом 1917 года удалось добиться согласия директора лежащего напротив здания Судебной Медицины на использование пустующих по случаю каникул зал, временно освобожденных покойников для творческой работы Дарвиновского Музея.

По прошествии немногих дней мы застаем чету зоологов, нашедших временный приют в бывшей мертвецкой.

Нелегко было после тяжелого академического года и тяжелых нравственных переживаний (воинских призывов, посещений «меценатов», мотки по зоологическому Саду, хлопотливого общения с живым Шимпанзе) проводить свой «летний отдых» в «доме мертвых», среди стен и металлических столов, пропитанных густым и терпким смрадом сотен трупов этих подлинных былых хозяев помещения...

Правда, что обвеянные смертью стены отвечали до известной степени и содержанию намеченных работ — попыткам реставрировать скульптурно внешний облик отдаленных вымерших предтеч, родичей и предков человека.

Первые по времени в Европе, эти скромные попытки реконструкции фигур людей Палеолита, были начаты по личной инициативе пишущего эти строки без малейшего знакомства (в силу чрезмерной оторванности от науки Запада во время мировой войны) с аналогичными работами Маскрэ-Рюто в музее Брюсселя и Мак-Грегора-Осборна в Нью-Йорке.

За отсутствием Ватагина (мобилизованного на войну) пришлось скульптурные работы поручить талантливому муляжисту-скульптору **Курбатову** под руководством автора и преданной его помощницы, Н.Н. Ладыгиной-Коте, располагавшей к тому времени громадным опытом по изучению мимики и пантомимики приматов и поведения низших антропоидов.

Начать пришлось с Неандертальца, как фигуры, наименее умозрительной, при полагании в основу полного подбора слепков с ископаемых костей людей Палеолита (Спи, Неандерталь, Мустье и Ла-Шапель о Сент).

Исходную анатомическую базу дали хорошо известные остатки старого неандертальца, давленные в департаменте Коррез во Франции. Нижнюю челюсть, деформированную на коррезском черепе, пришлось дополнить (по примеру Буля) Гейдельбергской челюстью.

Построенный таким путем скелет, при точном соблюдении пропорций, оставалось лишь одеть мускулатурой, руководствуясь рельефами костей и кожей, чтобы получить примерное подобие фигуры их бывшего жуткого хозяина.

Лишь мало ценная со стороны научной — (ввиду явной и заведомой условности достигнутого результата, отражающего неизбежно субъективные моменты в трактовании анатомической основы), созданная таким образом фигура старого Неандертальца оказалась в высшей степени полезной, как музейный экспонат для популярных и курсовых демонстраций. При естественной тенденции обычных массовых музейных зрителей представить себе внешний облик «предков человека» демонстрация фигур, прошедших через фильтр долгого и специального научного анализа и созданных руками опытных анатомов, конечно, больше гарантирует от вымысла и произвола, чем продукты обывательских фантазий и догадок рядового, массового зрителя.

Лишь в этом смысле — как замена большей степени неправды — меньшей — может быть оправдана и наша скромная попытка «реконструкций», без каких либо претензий на серьезное научное значение этих работ и это не смотря на то, что по сравнению со сходными работами Маскрэ и Мак-Грегора, наш Музей располагал гораздо более искусным скульптором.

В еще гораздо большей степени указанные трудности и условность достижений отразилась на второй задаче: воссоздания облика гипотетического «Питекантропа», на основании немногих ископаемых остатков, в свое время найденных на о. Яве.

Да и в самом деле. Черепная крышка (поврежденная), неполная, бедро (не абсолютно точной принадлежности) и пара коренных зубов (дурной сохранности) — таков тот грустный материал, который приходилось полагать в основу «реконструкции» внешнего облика загадочного Питекантропа.

Граничащая с безнадежностью попытка воссоздать фигуру обладателя бедра, неполной крышки черепа и пары коренных зубов оправдывалась только малой требовательностью критиков, как это явствует из ряда вопиющих по бездарности и фальши «реставрации» этого создания, наводняющих научную и популярную литературу.

И, окидывая ныне — по прошествии двадцати лет — скептическим и грустным взглядом нашу собственную скудную продукцию, приходится лишь утешаться, что работа наша все же уступает по фальшивости работам прочих авторов, трудившихся над этим роковым сюжетом.

Стоит лишь напомнить «реконструкцию», когда то посланную на рижскую Выставку профессором Евгением Дюбуа, не постеснявшимся представить это найденное им создание в виде механического сочетания лица Оранга на античном торсе с бедрами Ахилла и ступней Макака! Или о фигуре, слепленное — увы! — нашим Ватагиным для одного московского Музея-Выставки, фигуре, созданной по механическому принципу «средней арифметической» «Животного и Человека» и своим фальшивым реализмом только повторяющей грубейшую и неизбежную ошибку, вытекающую из неразрешимой по себе задачи: на основе ультра-фрагментарных данных, недостаточных для уловления «Типа» реставрируемого существа, придать ему реально-индивидуальные черты! Как если бы была дана задача: очернить наружность человека о котором неизвестно, был ли он на самом деле человек!

Вряд ли нужно говорить, что сказанное против создания пародий на искусство и фальсификаций в области науки ни в малейшей мере не касается самой проблемы Антропогенеза и вопроса о «звериных предках» человека, этого важнейшего вопроса эволюционного учения, давно в принципе позитивно разрешенного.

Протестовать приходится лишь против упрощенческого взгляда полагающего, будто временные пропуски или пробелы эмпирического знания несовершенства фактов Палеонтологии, возможно покрывать, замазывать посредством глины, краски и фантазии художников.

И, все же справедливость требует отметить, что элементарные до крайности, эти сомнения в научной ценности скульптурных «реконструкций» появились лишь в итоге долгих опытов этого рода. И в описанную пору, осенью 17-го года, об «реставрации» — Неандерталец и Яванец с торжеством перебрались в Музей, точнее: из просторных, светлых и смердящих зал мертвецкой водворились в темных тесных коридорах свернутого Дарвиновского Музея.

Этими занятиями в мертвецкой знаменательно закончилась в исходе 1917 года первое десятилетие Музея.

Спорные со стороны научной эти реконструкционные работы оказались все же не без пользы для Музея и притом в тройном отношении:

А. Положив начало будущим, более вдумчивым работам нашего Музея в той же области.

В. Подготовив почву для скульптурной деятельности Ватагина.

С. Подтвердив готовность автора преодолеть любые трудности в борьбе за построение Музея.

Таково было фактическое положение Музея двадцать лет тому назад, перед кануном Октября.

Имелись богатейшие коллекции разбросанные, распыленные.

Имелись высококвалифицированные сотрудники, мобилизованные на войну, оторванные годами от их творческой работы.

Имелось либеральное, вернее либеральничавшая «верхушка» общества лишь платонически приветствовавшее учение Дарвина, правительство косившееся на него, то и другое равно сторонившееся от поддержки Дарвиновского Музея.

Как общественное учреждение этот последний строго говоря, существовал в ту пору только на музейных бланках, да в пророческом сознаний основателя его, в глубокой вере и уверенности за грядущую судьбу его идейного создания.